
Илья Аленский
Тихон Рубцов
Скорбный лист мастера
18+

Илья Аленский

Скорбный лист Мастера

«Автор»
2026

Аленский И.

Скорбный лист Мастера / И. Аленский — «Автор», 2026

Дворян в этой Империи возят по асфальту с подогревом и лечат в элитных корпусах с роботохирургией. Простолюдины ходят по снегу и умирают в коридорах на казенных матрасах. Именно в такой мир, во второй корпус земской больницы Кокшенска, заносит душу древнего химеролога. Теперь он вынужден носить имя молодого терапевта Тихона Рубцова и ежедневно бороться за жизни пациентов.Никто не должен узнать, что за дипломом обычного земского врача скрывается разум человека, чьи руки способны без инструментов сращивать разорванные артерии и вытаскивать людей с того света. Чтобы не стать объектом охоты имперских спецслужб, Тихону приходится творить чудеса в глубокой тайне. Лечить смертельные отравления и тяжелые травмы так, чтобы это выглядело как обычное действие аптечных капель. Против него — сословная ненависть, амбициозные коллеги и безжалостная канцелярская машина. За него — циничный, но гениальный хирург-алкоголик, старый учебник медицины и фантастический дар, способный перехитрить саму смерть.

© Аленский И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 14
Глава 3 24
Глава 4 33
Глава 5 44
Глава 6 55
Глава 7 66
Конец ознакомительного фрагмента. 70

Илья Аленский
Скорбный лист Мастера

Глава 1

— Я в отпуске, — сообщил я листве.

Листва лежала у меня на лице, мокрая, прошлогодняя, плотная, как компресс, который забыли снять, и не ответила. Хоть кто-то в этом мире вёл себя прилично. Голос оказался чужим: ниже моего и с сипотцой, как у человека, который долго молчал на холоде. Я мотнул головой. Листва нехотя съехала на ухо.

Темноты не было. Было серо, мокро и низко: небо висело почти над самым лицом, как потолок в дешёвой ночлежке, и сыпало чем-то средним между снегом и водой, будто ни то ни другое не решалось взять на себя ответственность. Это среднее таяло у меня на щеках и стекало за воротник. Наст подо мной хрустел при каждом вдохе, словно кто-то внизу вёл учёт и ставил галочку.

Первым делом я провёл опись. Привычка мастерской: прежде чем браться за материал, посмотри, что тебе принесли. Принесли следующее. Лежу на спине. Под спиной вода. Над водой наст. На насте я. Слева прошлогодняя листва, если верить запаху, а запаху я привык верить больше, чем подмастерьям. Справа склон. Наверху, за склоном, что-то шуршит по мокрому: долгий ровный шорох, пауза, второй такой же. Звук был незнакомый. Так могла бы шуршать по мокрой коже очень большая змея, если бы змеи ходили по расписанию и никогда не сворачивали. Вслед за шорохом по кромке дороги проходит свет — белый, ровный, не похожий ни на факел, ни на фонарь, — и в канаву не заглядывает.

Что-то там, значит, ездит. А здесь канава.

Шорох проходил редко, всякий раз одинаковый, и ни разу не замедлился. Канава его не интересовала. Не интересовало его и то, что лежало в канаве. Нас с канавой это вполне устраивало: мы о нём тоже не беспокоились.

«Да откуда столько грязи», — подумал я.

Грязь была везде, но лучше всего она устроилась на лице: стянула кожу, забилась в угол рта и хрустела на зубах, как песок в плохо промытой ране. Состав я определил без малейшего желания: глина, речной песок, перепревший лист. Прекрасный грунт для огорода и отвратительный для лица. Я поднял руку, чтобы утереться. Рука поднялась не сразу, с той задержкой, с какой Гильдия обычно отвечала на мои жалобы, и оказалась молодой, широкой в кисти, с обкусанным ногтем на большом пальце.

Не моей.

Я вытер лицо рукавом. Рукав оказался в той же глине. Я попробовал второй, но второй придерживался того же мнения, что и первый, и в итоге грязь легла от виска до подбородка ровным слоем, без единого пропуска, как грунтовка, положенная прилежным, но бездарным учеником. Такую работу я не принимаю. Предъявить претензию, однако, было некому: исполнитель лежал здесь же и честно смотрел в небо.

Мне ведь обещали покой. Речи были длинные, награды тяжёлые, формулировка торжественная: «мир, где Мастеру не придётся больше трудиться». Мастера Гильдии произносили её, промокая глаза платками, — так промокают глаза, провожая за дверь человека, которого давно мечтали за эту дверь выставить. Про канаву в формулировке не было ни слова. Если бы Гильдия составляла каталог заслуженных покоев, эта канава шла бы в нём отдельной строкой, крупным шрифтом и с пометкой «полный пансион»: проточная вода со снегом, круглосуточный шорох сверху, листва в изголовье, а также ледяной компресс на затылок — бесплатно,

по умолчанию и без права отказа. Ни одна лечебница не сумела бы обеспечить такой уровень обслуживания за такие деньги. Впрочем, слово своё они сдержали. В канаве не трудятся. В канаве лежат.

Я продолжил опись, теперь уже изнутри, как продолжают осмотр, когда снаружи всё ясно. Голова болела тупо и глубоко — не кожей и не костью, а где-то под ними. Подташнивало мелкой, назойливой волной. Я сосчитал вдохи: ровные, но неглубокие, будто тело берегло что-то в груди и само не знало, что именно. Пальцы правой руки — пять из пяти, шевелятся. Левой — пять из пяти. Ступни в промокшей обуви отзывались плохо, но отзывались. Холод уже работал: тело отдавало тепло канаве, не торгуясь, как простак на ярмарке отдаёт последнюю монету.

С этим телом обошлись без малейшего уважения к материалу, как обходятся с заготовкой, которую решили выбросить, не доведя до ума. Кто именно, я не знал. Своя память была на месте, вся, до последней жилки в последнем звере, которого я когда-либо собирал. Сверх неё не было ничего: ни имени этого тела, ни названия этого места, ни причины, по которой я лежу в его воде.

Лежать дальше было нерационально. Мокрый человек на ветру остывает быстрее, чем успевает это обдумать.

Встать.

Сначала на локоть. Наст хрустнул, и локоть провалился в ледяную воду по самый рукав. Вторая попытка — на ладонь. Ладонь удержала. Хорошая ладонь, рабочая, привычная к тяжёлому: такой не стыдно было бы держать и щипцы, и чужую печень. Потом колено. Я приподнялся настолько, что увидел край канавы, серый снег на нём и тёмную мокрую полосу наверху, по которой как раз тянулся тот же белый свет.

И мир качнулся.

Край канавы съехал вбок, земля встала на ребро, как тарелка в руках неловкого слуги, и я лёг обратно лицом в листву — аккурат в то место, откуда только что старательно стирал грязь. Вся очистка лица ушла в отходы за одну секунду, без остатка. Отчитываться было не перед кем, поэтому итог я подвёл сам: три попытки, ноль результатов и один свежий слой глины поверх прежнего. В любой ведомости это называлось бы коротко.

Отрицательная динамика.

Тогда на меня и обрушилось.

Не боль. Чужая жизнь. Двадцать четыре года разом, без описи и без очереди, как будто кто-то перевернул над моей головой мешок с чужим бельём из общей сушилки. Запах хлорки и казённых простыней. Бабушкины руки, сухие и тёплые, завязывают шарф двойным узлом, чтобы не развязался до самой школы. Деревенская школа и дневник, в котором одни пятёрки, и учительница, которая показывает этот дневник другим родителям как наглядное пособие. Лапша из пакета в три часа ночи, потому что на другое нет ни денег, ни времени. Ночная смена, ведро, швабра, а в восемь утра лекция. Формалин. Конспект под настольной лампой, и буквы плывут, как мальки в мутной воде. Чужие страхи, чужие надежды, чужие долги и обиды — всё вперемешку, комом, без бирок.

Я так не работаю. Сначала опись, потом вскрытие, и уж никак не наоборот. Прежде ко мне записывались заранее, ждали в приёмной и входили по одному, вытерев ноги. Здесь чужая жизнь вошла без стука, без спроса, в грязных сапогах — и сразу легла на стол целиком.

Имя пришло последним и легло поверх всего, как печать на чужом документе: Тихон. Тихон Рубцов.

Заодно у вещей появились имена. Шорох наверху оказался шинами, белый свет — фарами, тёмная мокрая полоса — асфальтом, а то, что ездило и не сворачивало, — машинами. Змей, к моему облегчению, в этом мире по расписанию не пускали. Дорога, значит. И канава при ней.

А свежее всего, ближе всего пахло пирожками.

Память не спрашивала разрешения. Она выкладывала себя сама, как инструменты у неряшливого ассистента: всё сразу и не по порядку, щипцы поверх пилы, а скальпель — неизвестно где. Я лежал лицом в листве и смотрел.

Конец февраля. Защита. Тихон Рубцов стоит перед комиссией в единственном пиджаке, у которого локти блестят сильнее пуговиц, и отвечает так, что председатель дважды переспрашивает фамилию. Фамилии простолюдинов с первого раза не запоминают; обычно их не запоминают и со второго. Лучший на курсе. Шесть лет: днём лекции, ночью смены санитаром, а между ними конспекты на подоконнике. Квотник. Простолюдин. Два слова, которые в институте произносили отдельно от фамилии и чуть тише, как произносят диагноз при больном. Комиссия кивает с лицом людей, которые нашли в казённом супе мясо и не знают, кому на это жаловаться.

Март. Распределение. Тихон просит Кокшенск: рядом Малое Лутово, а в Малом Лутове бабушка, и больше у него никого. Институт идёт навстречу лучшему выпускнику, пускай и простолюдину. В направлении этого слова нет. Оно и так читается — между строк, крупным шрифтом.

Формулировку я оценил. Шесть лет без сна, первое место на курсе, и награда: разрешение поехать туда, куда сам попросился. Гильдия, надо признать, поступила со мной почти так же, только речи у неё были длиннее.

* * *

Поезд. В плацкарте чужие пятки висят на уровне лица, запах варёных яиц и мокрых курток. Плацкарт — место, где достаток определяют по запаху: у соседей курица в фольге, у Тихона ничего. Тихону хочется есть. Не просто хочется, а так, что желудок пишет жалобы в трёх экземплярах. Голод доехал со мной до канавы: в памяти он не выветривается. Мне, признаться, тоже захотелось пирожков. Это было первое желание, которое я получил в этом мире, и оно было чужое.

Денег мало. Пересчитывает их дважды, второй раз — с надеждой. На арифметику надежда не повлияла. Обед в вагоне-ресторане стоил столько, будто Тихон собрался скупить у бабки на перроне весь лоток вместе с бабкой, — и всё равно не хватило бы. Тихон выбрал пирожки. Математически он был прав.

На полустанке поезд встаёт со вздохом тормозов, и голос из динамика что-то говорит. Тихон в это время думает о пирожках и объявление пропускает мимо ушей, хотя объявление было коротким, как и стоянка: одна минута. Её он тратит на ступеньки, на выбор и на сдачу. Выбор, как всегда, занимает больше всего.

Бабка с лотком стоит в двух шагах, в платке поверх шапки, и торгует так, будто поезда не существует вовсе: поезд не её забота.

— С капустой бери, милок, — советует она, отсчитывая сдачу мелочью. — С ливером не бери. С ливером я и сама не ем.

Он берёт с капустой. Поворачивается с пирожками в обеих руках — а сцепки уже лязгнули, и вагон плывёт мимо. Медленно. Издевательски медленно, так медленно, что кажется: догонишь.

Он бежит. На втором шаге скользкий перрон уходит из-под ботинка, и Тихон падает на колено. Пирожки остаются в руках, все, целые: бросить их ему в голову не приходит, деньги за них уже отданы. Пока он поднимается, вагон уходит на тот самый шаг, который отделяет «почти» от «нет».

Не догоняет.

В дверях тамбура стоит проводница. Смотрит на Тихона, на пирожки, снова на Тихона — и улыбается: злорадно, но аккуратно, без лишних движений, профессионально. Так улыбаются

люди, у которых в жизни мало власти, но в эту минуту её ровно на одну дверь. Потом она эту дверь закрывает.

Ну кто бы сомневался.

Будь он дворянином, она взмахнула бы флажком, и поезд стоял бы, сколько нужно дворянину. Поезда в Империи ходят строго по расписанию, а расписание составлено с той же заботой о людях, с какой составляют прейскурант: для простолюдинов там проставлены минуты, для дворян — отдельной строкой «по требованию», а для дворянских собачек, надо думать, ещё одна строка, «по настроению», мелким шрифтом в самом низу. Тихон в этом документе значился в первой графе. Минута вышла.

Он остаётся на перроне. Документы при нём, во внутреннем кармане. Деньги тоже при нём, хотя называть их деньгами — преувеличение. Такси дорого. Это он знает не по прейскуранту, а по опыту: дорого всё, что не пешком. На машине до города около двух часов. Пешком — сутки с лишним, если не спать.

Он стоит с пирожками и делает то, что делают все люди в его положении: считает. Сначала деньги, потом часы, потом снова деньги — в слабой надежде, что за это время их стало больше. Деньги не размножились. Часы не сократились. Облупленный щит с расписанием добавил от себя: следующий пассажирский — через двое суток. Билет на ушедший поезд действовал на ушедший поезд. Кассы на полустанке не было, крыши тоже: навес над перроном держался на одной честности, а честность давно протекала. Двое суток мокнуть на месте или сутки мокнуть на ходу — арифметика выбрала второе. На ходу хотя бы греешься.

Считал парень вслух, шёпотом, по слогам. Хорошая привычка. Пригодится.

И что не потерпел с этими пирожками. Эх.

* * *

Трасса. Мокрый асфальт, серые обочины, снег вперемешку с грязью, тот особый мартовский снег, который уже не белый, но ещё не вода. Идти приходится по самому краю, и каждая встречная машина окатывает Тихона из-под колёс. Не со зла. По касательной: так в Империи достаётся простолюдину почти всё, от воды до приговора.

Тихон идёт в сторону города и голосует. Голосует, как голосуют честные люди, — вытянутой рукой и с верой. Вера продержалась недолго. Рука продержалась дольше: руке к тяжёлому не привыкать, она шесть лет таскала вёдра и носилки, а вера к такому не приучена.

Машины проходят мимо. Одна, вторая, пятая. Он считает их, сбивается на седьмой и считает заново. Водители смотрят вперёд, сквозь него, как смотрят на придорожный столб: стоит — и пусть стоит, их это не касается. Ни одна не останавливается. Тихон не обижается. Обида для простолюдина — роскошь, а на роскошь тоже нужны деньги.

Пирожки к этому времени остыли и лежат в кармане тяжело, как камни для пращи. Арифметика не изменилась. Шагов Тихон не считал. Зря: шаги были единственным, что на этой дороге шло в его пользу.

Я шёл вместе с ним — в памяти, лёжа на спине в ледяной воде. Самая длинная прогулка в моей жизни, и я не сделал на ней ни шагу.

Машина была видна издалека, и не заметить её было трудно: на пустой трассе она стояла, как рояль в коровнике, — дорого, некстати и непонятно, кто её сюда завёз. «Регент». Российский внедорожник, высокий и широкий, блестящий даже под мокрым снегом, будто снег на него падал с разрешения. Тихон прикинул в уме: на такой ему работать лет тридцать. Если не есть. Пирожки в этот расчёт уже не входили. Это без отпусков. Про отпуска Тихон даже не думал. Я подумал. У меня как раз был отпуск.

Рядом трое. Молодые. Двое стоят у края обочины спиной к дороге и справляют нужду, третий ждёт их, привалившись к капоту, и смеётся непонятно чему. Хозяева жизни облегчались на обочине с тем же достоинством, с каким, надо думать, делали всё остальное: у простолюдина для этого дела — будка с очередью, у господ — вся обочина от Вологды до Москвы.

Смеются невпопад. Движения размашистые и неточные, будто руки у них длиннее, чем они рассчитывали. Пьяные: перегар долетает до него раньше смеха. Или под чем-то. Или и то и другое. Уточнять диагноз он не стал: пациентами они ему не были. На ночных сменах он видел таких десятками. Обычно их привозили. Своим ходом они к нему ещё не приходили.

Он решил пройти тихо. Имя обязывало. Сошёл с асфальта на самую кромку, опустил голову и прибавил шагу. Пройти. Не смотреть. Смотрел под ноги, как будто там лежало что-то важное. Важного там не было, была грязь. Но смотреть в грязь безопаснее, чем в глаза людям с такой машиной.

Не вышло.

— О, — сказал тот, что у капота. — Пешеход.

Один из тех, что стояли у края, обернулся, не застегнувшись, и свистнул — так свистят собаке на пустыре. Окружили. Кто-то толкнул в плечо, кто-то в спину. Смеялись. О чём-то спрашивали и не дослушивали: им было интереснее смотреть, как он открывает рот, чем слушать, что из него выйдет. Тихон молчал и считал шаги до края круга. Шагов было мало. Круг был плотный.

— Поклонись господам, — сказал тот, что у капота. — Ну? В пояс.

В памяти этот момент стоял резко, как снимок: пульс за сто двадцать, ладони мокрые, во рту сухо — вся его маленькая армия поднята по тревоге, а воевать нечем. Шесть лет ночных смен научили его сносить пьяных, хамство старших, голод и недосып. Это он умел, и хорошо умел. Терпение у простолюдина не добродетель, а навык, как у санитара: носить тяжёлое и не ронять.

В этот раз не захотел. Почему именно в этот, память не объясняла. Может, устал. Может, шесть лет кончились, а терпения было отпущено ровно на шесть.

Кланяться он не стал. Перестал изучать грязь, поднял голову и встретил взгляд того, что у капота, — прямо и спокойно, как встречают взгляд пациента, которому сейчас придётся сказать неприятное. Ничего не сказал. Простолюдину в Империи и говорить ничего не нужно: поднятая голова у него уже считается заявлением, особенно там, где ждали поклона, а заявления от простолюдинов здесь принимают только в письменном виде и только снизу вверх.

Нерационально. Я бы поступил так же.

Кто-то из троих ещё смеялся, когда другой ударил.

Удар пришёлся в висок — глухо, как по кочану капусты.

Висок — самое тонкое место черепа. Кость там как скорлупа, а изнутри к ней прижата средняя оболочечная артерия, как провод к стене. Скорлупа треснула. Артерия лопнула. Кровь пошла туда, где ей быть не положено, — между костью и твёрдой мозговой оболочкой. Артериальная кровь идёт под давлением: она отслаивает оболочку, как обои от сырой стены, и с каждой минутой ей становится просторнее, а мозгу теснее. Очки слетели в листву. Тихон упал.

Сознание он потерял на минуту, может, на две. Троим этого хватило.

— Он чё?

— Не дышит вроде.

Дышал. Редко и тихо, но дышал. Проверить было просто: два пальца на шею, три секунды. Ни у кого из троих не нашлось трёх секунд.

Смех кончился сразу, как будто его выключили. Дальше они действовали быстро и бестолково, как действуют люди, которые впервые прячут то, что сделали. Тихона взяли под руки и за ноги и стащили с обочины. Бросили в канаву. Присыпали грязью и прошлогодней листвой — горстями, ногами, чем пришлось. Хлопнули двери. «Регент» ушёл.

Потом Тихон пришёл в себя.

В этом и есть самое жестокое в эпидуральной гематоме — в светлом промежутке. Удар, потеря сознания, а потом человек приходит в себя. Он может думать. Иногда может говорить

и даже встать. А кровь тем временем копится под костью и давит на мозг, не торопясь. Ей торопиться некуда.

Тихон лежал под листвой. Листва давила на грудь, как сырое одеяло, вода подбиралась под лопатки. Голова болела, сначала терпимо, потом всё сильнее. Наверху шуршали шины. Он был жив, когда его присыпали. Он был жив, когда «Регент» уехал. Он был жив ещё какое-то время; сколько именно, память не сообщала. Часов в ней не было. Было холодно, и думать становилось всё тяжелее.

Потом ему захотелось спать.

Сначала расширился зрачок на стороне удара. Потом стало реже дыхание. Потом реже пульс. Сдавленный мозг выключает человека по порядку, начиная с того, что поновее, и заканчивая самым старым — дыханием и сердцем.

Тихон уснул.

Дальше в памяти не было ничего. Ни темноты, ни тишины. Просто конец записи.

И вот в этом теле появился я, Тирон. Мастер плоти, химеролог.

Чужая запись кончилась. Осталось тело в канаве, и теперь я знал, что с ним. Анамнез мне собрал сам покойный — подробно, добросовестно, с механикой травмы и последовательностью симптомов, как и положено лучшему на курсе. Жаль, на консилиум он не успел. Он бы мне сейчас пригодился: в канаве не с кем посоветоваться, кроме листвы, а листва в медицине разбиралась хуже, чем молчала.

Хорошо. Знать — половина работы. Вторая половина — сделать.

Опись по новым данным. Перелом височной кости. Разрыв средней оболочечной артерии. Между костью и твёрдой мозговой оболочкой гематома, и она не стоит на месте, а растёт. Отсюда боль изнутри, отсюда тошнота, отсюда мир, вставший на ребро, когда я пытался подняться. От этого Тихон умер. Тело, похоже, намеревалось повторить, теперь уже со мной внутри. Участвовать в этом я не собирался. Один раз меня уже отправили на покой; второй раз подряд — перебор даже для Гильдии.

Я не работаю. Я просто не могу на это смотреть. Особенно изнутри.

Руки не понадобились. Руки нужны для чужих, и то не всегда; себя чинят изнутри, как часовщик заводит часы, не вынимая их из кармана. Прежде мне не приходилось лежать на собственном столе. Стол, правда, достался так себе: мокрый, холодный, с талой водой вместо простыни и без единого помощника, который подал бы хоть салфетку.

Начал с главного — с артерии. Пока она течёт, всё остальное похоже на мытьё пола при открытом кране. Нашёл разрыв: края разлохмачены, стенка тоньше бумаги, и под ней бьёт давление, которое ни на секунду не собирается вежливо подождать, пока мастер закончит. Я свёл края и подержал их, как держат порванную нить, пока не схватится узел, — и кровь остановилась. Я не торопился. Торопятся те, кто делает плохо, а потом всю жизнь объясняет, почему так вышло.

Потом гематома. Кровь, которая уже вытекла, обратно не заливают: её разбирают — сгусток за сгустком, слой за слоем. С каждым слоем мозгу становилось просторнее, и звон в ухе, которого я до того не замечал, стих, как стихает за стеной выключенный чайник. Давление уходило. Боль вышла изнутри наружу, как и положено честному ушибу. Тошнота отступила. Мир медленно лёг обратно горизонтально; я его об этом не просил, но был признателен. Сгустки я убирал так, как разгребают завал в кладовке: сначала то, что ближе к двери, потом всё остальное. Кладовка была моя, а завал в ней — чужой.

Потом кость. Трещина в височной шла ровной чертой, без осколков. Я свёл её и срастил. Кость молодая, крепкая, деревенская, на молоке и картошке выращенная; такую сращивать одно удовольствие, если бы не обстоятельства. Обстоятельства лежали в ледяной воде и мешали сосредоточиться.

Пульс выровнялся. Дыхание тоже. Пальцы правой руки — все на месте и слушаются. Левой — тоже. Ступни мёрзнут, но это уже их личное дело. Внутри работало то, что недавно стояло. Звук хорошей работы ни с чем не спутаешь, даже изнутри.

И тут я похудел.

Не постепенно, как худеют от голода, а разом, как оседает тесто, если хлопнуть дверью. Я провёл ладонью по лицу: щёки ушли внутрь. Тяжёлая, набрякшая одежда вдруг стала просторнее, будто её перешили на кого-то другого. Холод, которому до этой минуты мешал деревенский жирок, прошёл до костей без очереди.

Я этого не заказывал. Я заказывал артерию.

Я остановился. Сразу. Не доделав.

Вывод был простой и неприятный. За починку себя тело платит собственным жиром — без рассрочки, без кредита, по полной цене и вперёд. По ощущениям, тело только что отдало шесть килограммов, а ощущения у меня точные. Как с этим обстоит дело, когда лечишь других, ещё предстояло выяснить.

Курс был невыгодный. Чтобы чинить себя как следует, мне придётся сначала потолстеть, и основательно — до колобка. Великий мастер живой плоти, перед которым когда-то вставали ученики, перед каждой серьёзной работой будет обязан сесть за стол и наесть себе щёки, как купец перед ярмаркой. Гильдия, узнай она об этом, выпустила бы по такому случаю отдельный циркуляр, торжественно зачитала бы его на общем собрании, наградила бы меня за вклад в науку о сдобе и, пожалуй, впервые за всю нашу совместную историю осталась бы мной довольна. Гильдия вообще ценила всё, что мне неудобно.

Я лежал и считал. Вся работа заняла одиннадцать минут, и серьёзное в ней сделано: то, от чего умер Тихон, больше не убивает. Прочее никуда не делось — ушибы, ссадины, синяки, вся мелочь, которой Тихона наградили на обочине. Болит, но жить не мешает. Синяки сойдут сами, ссадины затянутся ещё быстрее: с мелочью тело справится без меня.

Недоделанная работа. Первая — и та своя.

Я посмотрел на неё изнутри, как смотрят на чужую халтуру: внимательно, с отвращением и с полным пониманием того, как это вышло. Я уже прикидывал, с какого края взяться за ушибы, и поймал себя на этом, как ловят подмастерья, полезшего в чужой ящик с инструментом. Я отложил. Есть работа, которую не доделывают не от лени, а от нехватки материала. Это я знал давно. Принимать ещё не научился.

Синод, Академия наук и жандармерия официально установили, что чудес нет. Память Тихона знала это так же твёрдо, как таблицу умножения, и с тем же почтением к первоисточнику. Возражений не имею. Чуда и не было. Была работа, и сделана она на троечку. Лучший на курсе за такую работу со мной бы не поздоровался — и был бы прав.

Мокрый снег падал мне на лицо и больше не таял так быстро, как раньше: греть его стало нечем. Наверху по асфальту прошуршала машина. Свет фар прошёл поверху и в канаву не заглянул.

Я лежал в канаве — лёгкий, живой и недоделанный.

Встать.

На этот раз мир остался на месте. Я поднялся на локоть, потом на ладонь, потом на колено, и край канавы никуда не съехал, а только смотрел на меня сверху с тем выражением, с каким смотрят на пациента, который наконец-то сел в постели. Голова болела снаружи. Это я принимал. В ведомости это называлось бы «положительная динамика».

Склон оказался круче, чем выглядел снизу. Наст ломался под пальцами, раскисшая глина ползла вместе со мной, как плохо закреплённая повязка. Тело было лёгким и слабым одновременно: шесть килограммов не исчезают без следа, они уходят и забирают с собой то, на что раньше можно было опереться. С первой попытки я добрался до середины склона, а оттуда

съехал обратно. Вторую провёл по науке: сначала опора, потом вес, потом рывок. Наука сработала. Глина держала до последнего и отпустила меня с явным сожалением.

Я сел на обочине и провёл опись имущества. Имущество было небольшое, и опись обещала быть короткой. Я ошибся.

Сначала очки. Тихон помнил, куда они слетели. Я вернулся на два шага, сунул руку в листву и нашёл их почти сразу. Одно стекло треснуло наискось, от края до середины, ровной чертой и без единого осколка. Хоть кто-то сегодня сломался аккуратно. Я надел их. Видно было почти так же, как без них: Тихон носил очки больше для солидности, чем для зрения.

Оставил. Квотнику без солидности нельзя. С ней, впрочем, тоже, но хотя бы видно, что человек старался.

Потом документы. Внутренний карман, бумага по краям разбухла и липнет к пальцам, но всё на месте. Паспорт. Диплом. Направление. Квотный контракт. Я разложил их на колене, как пасьянс, который заведомо не сойдётся, сколько ни перекладывай. Деньги тоже нашлись там же, хотя слово «деньги» по-прежнему было преувеличением. Я пересчитал. Сумма с прошлого раза не изменилась. Пирожков в описи не оказалось. Карман, где они лежали, был пуст и мокр: пирожки остались там, у «Регента», растоптанные в круге вместе с мокрым снегом. Минуту стоянки они пережили, а троих — нет.

Я развернул направление. Земская больница Кокшенска. Три года отработки. В контракте всё было сказано ещё проще: разорвал — верни казне стоимость учёбы, за все шесть лет. Сумму контракт называл цифрами и прописью, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Сомнений не возникло.

Я посчитал вслух. Три года — тысяча девяносто пять дней, если без високосного. Цифра вышла некрасивая. Красивых цифр в контрактах не бывает.

Мне обещали заслуженный покой в мире, где Мастеру не придётся трудиться. Покой выдали. Вместе с покоем выдали трудовой договор на три года, долг казне и место работы, о котором я ещё час назад ничего не знал.

Казну не интересует, жив ли должник. Её интересует, отработал ли он. Тихон умер в канаве, а контракт — нет. Контракт отлично себя чувствовал у меня во внутреннем кармане: из всего, что было при Тихоне, он один не пострадал ни от удара, ни от воды, ни от листвы. Если бы Тихона закопали как положено, по всем правилам и с отпеванием, контракт выбрался бы из-под земли сам, отряхнулся, явился в земскую больницу Кокшенска точно к первому рабочему дню и потребовал бы у главного врача три года отработки — с покойника, с его наследников или хотя бы с лопаты, которой копали. Бумага с долгом вообще живучая. Люди так не умеют.

Я сложил бумаги обратно и застегнул карман.

Память тут же подсказала остальное, не дожидаясь вопроса. Малое Лутово, недалеко от Кокшенска. Там бабушка. Кроме неё у Тихона никого не было. Ради неё он рвал жилы шесть лет, ради неё просил Кокшенск, и ради неё ему пошли навстречу.

Бабушка досталась мне вместе с телом. В комплекте. Её я в описи пересчитывать не стал: записал и отложил. Сначала надо дойти. К бабушкам, как и к пациентам, приходят на своих ногах.

Теперь имя.

Своё я знал. Оно было мне не нужно. Сказать его вслух здесь означало сумасшедший дом или закрытую лабораторию, в зависимости от того, кто услышит первым. Память Тихона знала оба адреса и, судя по уверенности, с какой их выдала, считала их одинаково надёжными. Выбора тут не было: молчание — единственная дорога, в конце которой не ждёт койка с ремнями.

Его имя тоже было мне не нужно. Но к нему прилагались паспорт, диплом, направление, контракт и бабушка. И тело, которое я только что починил на троечку.

— Тихон Рубцов, — сказал я.

Листва промолчала. Возражений не поступило.

Голос был чужой. Имя тоже. Привыкну. К чужому инструменту привыкают быстро, если инструмент хороший, а этот был неплох. Своё имя я с этой минуты не произношу. Даже про себя.

Я встал. Ноги держали — неуверенно, но держали. Для покойника, который ещё час назад лежал в канаве, — результат выше ожидаемого. Над трассой сумерки густели до темноты, мокрый снег шёл ровно и без перерыва. В какую сторону город, Тихон знал: он шёл туда, когда его остановили. Сколько туда идти, я уже знал и вслух не повторял.

Машины проходили мимо. Голосовать я не пробовал. Опыт у тела по этой части имелся, и опыт отрицательный. Повторять чужие ошибки я не собирался. Своих хватит.

Земская больница. Три года. Мастер, который пришёл сюда отдыхать. Я подвёл итог вечера: очнулся в канаве, починил себя, похудел, получил имя, бабушку и три года отработки.

Даже в отпуске заставляют лечить.

Желудок напомнил о себе — вежливо, но настойчиво, как кредитор, который зашёл просто поздороваться. Я сунул руки в карманы и пошёл.

Глава 2

Четыре тысячи сто восемь. Четыре тысячи сто девять.

Я считал вслух. На этой трассе сходился только счёт, а всё остальное расходилось: снег с водой, обочина с асфальтом, я с городом, до которого было ещё далеко. Мокрый снег летел сбоку, будто его подавали из-за угла по особому распоряжению. Наст проламывался через шаг, и ботинок уходил в талую воду по самые шнурки, а потом выходил оттуда тяжелее, чем входил. Ботинки были Тихоновы. Вода — казённая.

Тело держалось лучше, чем я ожидал от того, что пару часов назад лежало в канаве покойником. Ноги шли. Голова болела снаружи, как и положено ушибу. Шесть килограммов, оставленных в канаве, давали о себе знать при каждом подъёме, но жаловаться было некому, а сам себе я жалоб не принимаю: бесполезно, всё равно откажу.

Машины проходили мимо по одной и обдавали обочину водой с такой методичностью, будто у дорожного ведомства Империи был утверждённый план по орошению пешеходов, а пешеходов на этот план не хватало. Поэтому каждый, кто шёл по обочине, выполнял норму за троих, и отдельной строкой ещё за тех, кто в этот вечер благоразумно остался дома. Машин было меньше, чем шагов, и пользы от них — тоже.

Сзади вырос гул: низкий, тяжёлый, с подвыванием, какой бывает только у машины, которая весит больше, чем вся моя прошлая мастерская вместе с её хозяином. Свет фар лёг мне на спину, вытянул мою тень далеко вперёд по асфальту и смял её, как черновик. Фура прошла впритирку и окатила меня жижей от плеча до колена — щедро, по-хозяйски, не жалея ни воды, ни песка, ни прошлогодних листьев, которые несла на колёсах откуда-то с самой Вологды.

Куртку, выходит, стирать дважды. Первый раз — от канавы, второй — от фуры.

Потом зашипели тормоза.

Фура встала на обочине метрах в сорока впереди. Замигала аварийка — жёлтым, ровно, раз в секунду, как пульс у человека, который никуда не торопится.

Счёт кончился.

Руки ушли в карманы глубже, до дна.

На этой трассе однажды уже остановилась машина. Тихон тогда тоже решил, что тихо обойдёт.

Кабина высокая. Стекло тёмное. Сколько внутри — не видно. Обочина узкая. Справа кювет. Такой же кювет. Такая же листва. Такая же вода.

Стоять. Не бежать. Смотреть руки. Считать людей.

Человек оказался один.

Хлопнула дверь, из кабины спрыгнул мужик, обошёл тягач и пошёл ко мне, шлёпая по жиже так, будто жижа была его собственная и он её не боялся.

— Эй, пешеход! Залазь, подкину. В такую погоду пешего на трассе не бросают… — Он остановился в трёх шагах, прищурился и осёкся. — Тишка? Ты, не ты? Очки твои. А морда не твоя.

За этот вечер на трассе это была вторая машина, которая остановилась. Первая останавливалась не из-за пешехода.

Я его не знал. Широкое мокрое лицо, кепка, натянутая на уши, руки пустые. Руки я проверил первыми.

Память Тихона молчала секунды три. Потом вспомнило ухо.

Левое. Жёсткие пальцы тянут вверх, и голос сверху: «Яблоки, значит? А груши тебе тоже ветром в карманы надуло?» Дядя Митя. Сосед через забор. Тракторист с фермы барона Стрижова. Тогда от него пахло соляркой с трактора, сейчас — соляркой с фуры. Значит, пересел.

Следом память вывалила весь архив: яблоки, груши, ещё раз груши, бег через огород, крапива у забора, одно ухо, другое ухо. Тихона ловили часто. Дядя Митя приводил приговор в исполнение лично, на месте и без всякого права на апелляцию.

Я принял на баланс и это. Тело, контракт, долг казне, бабушку — и уши, надранные за груши, которых я не ел. Наследство не делят на удобное и неудобное: берут целиком, вместе с долгами и крапивой.

Дядя Митя тем временем решил вопрос опознания по-своему. Шагнул ближе, протянул руку и взял меня за левое ухо — не больно, а так, как берут знакомую вещь, чтобы проверить, та ли.

— Ухо твоё, — сказал он.

— Моё, дядь Мить, — подтвердил я. — Других не выдавали.

Опознание по уху. Ни паспорта, ни диплома, ни направления. В деревне свои методы, и, надо признать, надёжнее казённых: паспорт подделать можно, а ухо, которое ты лично драл, не подделаешь. Заведи жандармерия Империи такую картотеку — по уху на каждого подданного, с пометкой, кто, когда и за какие груши его драл, — преступления в Империи раскрывали бы быстрее, чем их успевают совершить, а половину и вовсе предотвращали бы: кто ж пойдёт на дело, зная, что его ухо давно на учёте у соседа.

Ухо, строго говоря, было моё. Драли его не меня.

Я вынул руки из карманов.

— Я это, дядь Мить. А ты какими судьбами здесь?

— Какими, — фыркнул он. — Рейсом.

Он отпустил ухо и посмотрел мне в лицо так, как смотрят на мятый капот: прикидывая, обо что приложился и во что встанет.

— А с мордой что?

— Упал, — сказал я. — В кювет. Не доходя сорок третьего столба, метров сто пятьдесят. Глубина метр десять, под листвой лёд. Приложился скулой о камень. Гранит, размером с кулак. Камень не пострадал.

Дядя Митя помолчал.

— Ишь как запомнил. А в кювет-то чего полез?

— Обочина узкая, дядь Мить. Фуры обдают. Отходил.

Он посмотрел на мою куртку, мокрую от плеча до колена. Куртку обдала его фура.

— Это да, — сказал он без всякого раскаяния. — Это мы умеем.

— Нас так учили, — добавил я. — Анамнез собирать. Километр, глубина, камень.

— Ана… — Он махнул рукой, отгоняя слово, как муху. — Не убился, и ладно.

Убился, - поправил я про себя. Дальше смену принял я.

— А отощал чего? Уезжал — щёки были.

— Шесть лет лапши из пакета, дядь Мить.

— Это да, — согласился он с глубоким уважением к лапше. — Это не сало.

— Сало мне в институте не полагалось, — сказал я. — Только конспекты. Они не жирные.

Дядя Митя хмыкнул, сунул руки в карманы, вынул, сунул опять. Ветер бил снегом по кабине, аварийка всё мигала, и в её жёлтом свете Митя казался человеком, которого то включают, то выключают.

— Подкину, — повторил он. — Только слушай. Я в город, на базу. Рейс у меня туда постоянный, а разгрузка там всегда долгая. Потом домой. И два выходных.

Он показал два пальца, как показывают ребёнку, сколько осталось до лета.

— Два, Тишка.

Я запомнил. Два. Первая цифра в этом мире, которую мне сообщили с радостью.

— Мне на вокзал.

— Вот и ладно. Залазь.

Подножка у фуры была высоко, а ноги отработали своё ещё где-то на четвёртой тысяче шагов. Я поставил ботинок — ботинок поехал по мокрому железу, как по льду. Дядя Митя ухватил меня за шиворот и вознёс в кабину одним движением. Тем же, каким когда-то вынимал Тихона из сада за ухо. Только выше.

— Тяжёлый был, — сказал он снизу. — А стал как воробей.

Внутри было тепло. Печка дула мне прямо в колени, как заботливая тётка, которая решила отогреть сначала самое неважное. Пахло соляркой, мокрой шерстью — это от меня — и чем-то аптечным, сладковато-горьким, вроде настойки, которую держат не для праздника. На панели лежали термос с помятым боком, путевой лист под прищепкой и пузырёк тёмного стекла.

Дядя Митя обошёл тягач, забрался на своё место и хлопнул дверью так, что пузырёк на панели подпрыгнул. По лобовому стеклу снова пошли дворники.

— Ну, — сказал дядя Митя и вырулил с обочины. — А пешком-то чего? Тебя ж поездом везли.

— Отстал.

— Как отстал?

— Полустанок. Стоянка одна минута. На перроне бабка с лотком, пирожки. Обед в вагоне-ресторане стоил дороже всего её лотка. Я вышел.

— И?

— Купить уложился. Вернуться — нет. Проводница видела. Улыбнулась и закрыла тамбур.

— Вот зараза, — сказал дядя Митя и даже руль качнул, будто проводница сидела где-то у обочины и её можно было зацепить. — А ты б ей корочки показал. Ты ж доктор.

— Корочки у меня во внутреннем кармане, дядь Мить. А тамбур у неё.

— Ну и что?

— Диплом квотника двери не открывает. Он открывает земскую больницу. И то по направлению.

— Из-за пирожков, значит, — подвёл итог дядя Митя.

— Из-за минуты. Пирожки только исполнители.

— А вещи?

— В вагоне. Рюкзак. Вещи, подарок бабушке. И телефон, на зарядке.

Дядя Митя на секунду оторвал глаза от дороги, чтобы посмотреть на меня так, как смотрят на тракториста, оставившего ключи в замке зажигания посреди поля.

— Телефон. На зарядке.

— Розетка одна на весь вагон, у проводницы над столиком. Очередь с утра. Моя подошла как раз к полустанку.

— Ну ты доктор.

— Я его заряжал, дядь Мить. Чтобы быть на связи.

— И где он теперь?

— На связи. Только не со мной.

Дядя Митя крякнул — не то с осуждением, не то с уважением к логике.

— И на последний автобус до Лутова я, выходит, тоже опоздал, — добавил я. — Денег, считай, нет. Были на пирожки. Пирожки куплены.

— А чего у тебя денег нет? Доктор же.

— Доктор я по диплому, дядь Мить. По деньгам я пока квотник.

Итог вечера сводился легко. Пирожки — в плюсе. Рюкзак, автобус и сам вечер — в минусе. Сальдо было не в мою пользу, а оспорить его было не у кого.

— Да не трясись ты за рюкзак, — сказал дядя Митя. — Сдадут. Проводница сдаст как миленькая. Ей своя шкура дороже твоих носков.

Это я знал и без него. В памяти Тихона на этот счёт лежало твёрдое: сотрудников железной дороги проверяет служба безопасности его светлости Горчурука. Не притормозить поезд ради простолюдина — это служба. Украсть у простолюдина — это уже разговор с людьми его светлости, и такие разговоры кончаются плохо. Страх — хороший сторож. Дешевле совести и надёжнее.

Выходило так. Поезд ради меня стоять не стал. Зато мои носки он довезёт до самой конечной в тепле, при свете, под незримой охраной людей его светлости, с подробной описью и под роспись принимающей стороны. Ни один простолюдин Империи не путешествовал с таким почётом, с каким сегодня путешествовали мои носки: если бы им ещё полагался обед в вагоне-ресторане, они доехали бы до камеры забытых вещей раздобревшими. Меня по дороге потеряли. Носки — нет.

Ошибка была в выборе формы. Останься я в вагоне рюкзаком, доехал бы до Кокшенска в тепле и под охраной. Рюкзак простолюдина в Империи — собственность. Сам простолюдин — пешеход.

— А голосовал? — спросил дядя Митя.

— Не останавливались.

Одна машина стояла. Не для меня — по нужде. Трое. Удар в висок. Светлый промежуток — его хватило, чтобы понять, что листвой присыпают живого.

Сказать — значит полиция. Полиция — значит протокол, осмотр, снимок головы. А на снимке будет голова, которая за один вечер зажила лучше, чем заживает за месяц. Я промолчал. Решение рабочее, обжалованию не подлежит.

С троими было сложнее. Номера я не видел: Тихон смотрел в грязь, а не на номер. Лица память отдала смазанными, как снимок, сделанный на бегу, — смех она помнила лучше, чем лица. «Регент» в губернии наверняка не один, и блестят они все одинаково. Достать их мне было нечем: ни имени, ни адреса, ни права спросить. Я их отложил — не забыл, а отложил, на ту полку, куда кладут инструмент, который ещё понадобится. Злость, правда, на полку не легла. Злость вообще плохо хранится: ей нужен кто-нибудь, до кого можно дотянуться.

Дядя Митя ждал продолжения. Продолжения не было. Я смотрел в лобовое стекло, как ходят дворники, туда и обратно, ровно, без суеты, и думал, что дворникам хорошо: им нечего скрывать, и у них всего одна работа.

Дядя Митя покосился на меня, хмыкнул — и вдруг захохотал.

— А помнишь, как я тебя по огороду? Полный подол груш тащил!

Память возразила. Четыре груши. Подола не было, были карманы. Деревенский протокол составляют со слов потерпевшего, и с годами груши в нём размножаются.

— Помню, дядь Мить.

— Через крапиву! Я за тобой, ты от меня, а штаны… — Он хлопнул ладонью по рулю и не договорил: смех был дальше слов.

Память Тихона подавала всё это вместе с теплом. Тёплое шло без спроса: крапива, забор, чужая жёсткая ладонь на ухе — и почему-то не обидно. Строки на это тепло в моей смете не было, и куда его записать, я не знал. Отметил и отложил.

— А я ведь говорил, — дядя Митя погрозил мне пальцем, не отпуская руля, — из этого толк выйдет. Или тюрьма, или доктор.

— Доктор, дядь Мить.

— Ну. Я так и знал. Одно другому не мешает.

Прогноз сбылся наполовину. Вторая половина пока в работе.

А не попросить ли у дяди Мити телефон и не поднять ли кого-нибудь в Малом Лутове, чтобы дошли до бабушки? На ночь глядя. По мокрому снегу. Чтобы поднятый рассказал деревне, а деревня — бабушке, в трёх редакциях, и в каждой я разбился насмерть, причём в

третьей ещё и при свидетелях. Я решил не поднимать деревню. Бабушка ждала шесть лет, пока Тихон учился. Одна ночь в этом счёте — погрешность.

Дядя Митя отсмеялся и поморщился. Потёр пальцами над правым глазом — сильно, с нажимом, как стирают с капота пятно, которое не отходит.

— Голова, зараза.

Он одной рукой отвинтил пузырёк, накапал в крышку термоса, не глядя, по привычке, как солят суп, долил чаю и выпил залпом.

— Мартыновские. От головы. Во капли.

Я отметил всё сразу, одним движением, как отмечают на обходе: правая сторона, боль над глазом, капли в чай не первый раз и не десятый. Отметил и пока не стал разбирать.

Дядя Митя вернул пузырёк на панель. Этикеткой ко мне.

Этикетка была напечатана для двух читателей. Сверху крупно, для покупателя: «Капли Мартыновские. От головы». Снизу мелко, латынью, для кого-то другого: Tinctura Opii.

Рецепт пишут на латыни, чтобы больной не понял, что пьёт. Больной не понял. Больной доволен.

Написано, впрочем, было честно. Честность в аптеке — для тех, кто знает латынь. Остальным — «от головы».

Опий сужает зрачки. Оба. Одинаково.

Встречная фура ударила дальним. Свет лёг дяде Мите на лицо, как фонарик невролога, и я посмотрел туда, куда посмотрел бы невролог.

Левый зрачок — точка. Правый шире. На свету левый сжался ещё, правый дрогнул и остался почти где был. Правое веко висело ниже левого — чуть-чуть, так, что в зеркале не заметишь, если не знаешь, что искать. Следующая встречная — то же самое. И следующая.

Лучший невролог Империи этой ночью работал на трассе: светил дальним в каждое лицо подряд, без записи, без очереди и без разбора сословий, и ни с кого не брал ни копейки. Пациент даже не знал, что его осматривают. Пациент рассказывал про груши.

Опий сужает оба зрачка. Если один не сузился, ему что-то мешает. Боль над правым глазом. Правый зрачок. Правое веко. Это один нерв, глазодвигательный, и его не застудили. Его давят.

Капли сняли боль. А боль была единственным, что могло довести дядю Митю до врача. Аптека продала ему тишину и выключила сигнализацию.

— …а штаны-то на заборе остались! — Дядя Митя хлопнул по рулю. — Так и висели, пока бабка твоя не сняла!

Я посмотрел внутрь. Не глазами.

Получилось с первого раза — на расстоянии, через полкабины и чужую куртку. Я прошёл по сосудам вверх от шеи, к основанию мозга, туда, где внутренняя сонная артерия отдаёт заднюю соединительную. Там висел мешок. Тонкостенный, с узкой шейкой, налитый, повёрнутый боком к нерву, как пьяный, который навалился на забор.

Своё тело я в канаве чинил по памяти: где что лежит, знал, как в собственном кармане. Чужое тело — как чужая кладовка: всё на месте, но не там, где поставил бы я. Весь хлам перебирать было незачем. Мне нужна была одна полка, и на ней лежало то, чего на полке быть не должно.

Дома это называли кровяной ягодой: висит на сосуде, как ягода на черенке, и зреет. В учебнике Тихона это мешотчатая аневризма задней соединительной артерии. Учебник тоже сравнивал её с ягодой. Хоть в чём-то миры сошлись.

— Ты чего притих? — спросил дядя Митя.

— Слушаю, дядь Мить.

— То-то. Ты слушай.

Я слушал. Не его.

Ягода росла. Нерв не стал бы жаловаться на то, что стоит на месте.

Если она лопнет, кровь пойдёт под оболочки мозга. Дядя Митя получит изнутри удар по голове, какого не получал за всю жизнь. Скажет, может быть, «ох». Потом руки отпустят руль. Фура пойдёт туда, куда наклонена дорога. Навстречу шла другая.

Лопается такое от натуги, от подъёма давления, от волнения. От кашля. От смеха.

Из этого списка дядя Митя за вечер выполнил уже два пункта. С перевыполнением.

— Ой, не могу, — простонал дядя Митя и вытер глаз. Правый. — Штаны на заборе!

Я посчитал. Девяносто. Встречных — шесть в минуту. Впереди мост. Если ягода дотерпит до моста, на мосту у неё будет лучший вид.

Пассажир тоже в кабине.

Я пристегнулся. При разрыве аневризмы у водителя ремень не помогает. Он помогает при всём, что бывает после.

— Хлебни. — Дядя Митя протянул мне крышку от термоса. — Согреешься.

Чай с Мартыновскими. Опий для пассажира, чтобы водитель был не один такой.

— Спасибо. Мне ещё голова нужна.

— Ишь, городской.

Он допил сам.

Водитель фуры на опийной настойке, ночью, на мокрой трассе. Аптека отпустила, водитель принял, трасса не возражала. Возражать в кабине мог только я, и я молчал.

Значит, лечить.

Я проиграл разговор в голове. «Дядь Мить, у тебя аневризма задней соединительной артерии». — «Чего?» — «Ягода в голове». — «Ягода?!» И хохот, долгий, с кашлем, на мокрой трассе. Лучшего способа её лопнуть я бы не придумал. Да и не поверит: человек, у которого воровали груши, от вора диагнозов не принимает.

Вторая беда — цена. Себя я чиню за жир, это проверено: шесть килограммов ушло в канаве. За чужого я ещё не платил ни разу. Если чужой сосуд в мозге стоит так же, как свой, то тонкая работа на шейке аневризмы может съесть больше, чем у меня осталось. Сколько осталось, я знал. Хватит ли — нет.

Даже в отпуске заставляют лечить.

Благородства в этом не было. Я сидел справа, а на мосту справа ближе к перилам.

— А помнишь, — дядя Митя повернулся ко мне, и глаза у него уже смеялись, правый чуть уже левого, — как ты у Стрижовских на тракторе…

Он набрал воздуха. Для смеха.

Сначала проба. На неё ушло меньше времени, чем у дяди Мити на вдох.

Под штаниной, на колене, осталась ссадина — её начал перрон, а канава закончила, — мелочь, которую я тогда пожалел чинить. Я затянул её изнутри. Пошло знакомо: тягой из-под кожи, тем же ходом, каким в канаве уходили килограммы, только мельче, как сдача мелкой монетой. Ссадина закрылась. Запас стал меньше на одну ссадину. Граммы. Теперь я знал, как ощущается счёт, когда платить мне.

Дядя Митя захохотал. Про трактор он так и не договорил: смех вышел раньше слов, длинный, с присвистом, и на третьем выдохе перешёл в кашель. Лицо у него налилось тёмным, он пригнулся к рулю, как пригибаются под низкую притолоку.

Я положил ему руку на плечо.

— Дыши, дядь Мить.

Жест обычный. Так кладут руку соседу, которого разобрал смех, и так кладёт руку врач, когда считает дыхание. Под ладонью была куртка, под курткой плечо, а дальше я пошёл туда же, куда ходил на расстоянии: к основанию мозга, к ягоде.

Первые секунды я не работал. Я смотрел на себя.

Ничего не уходило. Ни тяги, ни грамма. Я тронул шейку мешка — ничего. Взялся за стенку — ничего.

Своё — за жир. Чужое — даром.

Кто бы ни составлял этот прейскурант, считать он умел. Где-то, надо думать, сидит в нарукавниках некий небесный бухгалтер, у которого на каждого мастера заведена отдельная книга: на одной странице — «работа над собой, по полной цене и вперёд», на другой — «работа над ближним, бесплатно, за счёт заведения», а внизу приписка мелким почерком, что жалобы на тариф не принимаются, поскольку тариф утверждён раньше, чем был изобретён первый жалобщик. Гильдия у себя ввела бы третью графу — «работа над ближним по договорённости», — и брала бы по ней втрое.

А если бы наоборот? Я примерил и этот прейскурант. Если бы чужое стоило как своё, я снял бы руку. Сначала нael бы щёки, а пока смотрел бы на мосты и надеялся, что ягода подождёт. Ягоды обычно не ждут. Хорошо, что этот прейскурант остался на бумаге.

Дальше пошла работа.

Изнутри кабины ягоду не вырежешь. Её надо выключить из кровотока: заполнить мешок сгустком, чтобы кровь перестала бить в тонкую стенку, и укрепить шейку там, где мешок держится за артерию. Медленно. Сгусток — слоями. Шейку — по окружности. Поспешишь — и стенка, которая держалась на честном слове, порвётся прямо у меня под пальцами, которых там нет.

Работа шла как штопка: игла, нить, узелок, снова игла. Только иглы не было, нити не было, а штопал я стенку тоньше бумаги на скорости девяносто.

Фура вошла в поворот, и дядя Митя дёрнулся, выправляя руль.

— Не дёргайтесь, — сказал я.

— Так дорога ж! — возмутился он и тут же покосился на меня. — Ты чего меня на «вы»?

— Уважение, дядь Мить.

— Ишь.

Слой. Ещё слой. Шейка закрылась на четверть.

— Ты вот доктор, — сказал дядя Митя. — Скажи: от чего голова болит?

— От сосудов, дядь Мить.

— Во! Умный. А я думал — от погоды.

— И от погоды тоже.

— То-то. — Он кивнул на пузырёк. — Таблетки ваши городские — химия. А Мартыновские — на травах.

— На травах, — согласился я.

Мак тоже трава.

Смех был мне не нужен. Каждый взрыв хохота поднимал давление в груди, давление шло вверх, в ту самую стенку, которую я штопал. Но и молчать было нельзя: земляк, которого подобрали на трассе, обязан смеяться над грушами, а земляк, который молчит, вызывает подозрения. Я выбрал середину и отвечал коротко, как отвечают на перекличке.

— А крапива-то, помнишь, по пояс?

— По пояс.

— А ты через неё без штанов!

— Без штанов.

Дядя Митя посмотрел на меня и захохотал ещё сильнее.

— Важный стал, доктор! «Без штанов»! Как в протокол пишет!

Шейка — наполовину.

Дядя Митя рассказывал про трактор у Стрижовских, уже третий раз начиная сначала: смех съедал ему середину, и до конца истории он никак не доезжал. Я слушал вполуха. Второй половиной уха я слушал сосуд.

Мешок заполнился и перестал пульсировать. Кровь шла по артерии мимо него, как ходят мимо закрытой лавки: заглянут по привычке в окно и идут дальше.

Шейка — по всему кругу.

Я снял руку.

Дядя Митя покосился на плечо.

— Тяжёлая у тебя рука. Врачебная.

— Санитарская, — поправил я. — Шесть лет.

— Вот. Чую.

Дядя Митя ещё раз провёл ладонью над правым глазом — по привычке, как трут место, где только что болело. Подержал. Опустил.

— Во, — сказал он с удивлением. — Отпустило.

И уже уверенно, как человек, у которого всё сошлось:

— Подействовали! Полфлакона — и как рукой!

Он постучал пальцем по пузырьку на панели. Пузырёк звякнул.

— Приемлемо, — сказал я.

Синод, Академия наук и жандармерия могли спать спокойно и на этот раз. В прошлый раз чуда не было, была работа. В этот раз не было даже работы. Были «Мартыновские» капли, полфлакона, и они подействовали. Свидетель имелся, и свидетель твёрдо стоял на стороне аптеки. Лучшего прикрытия я бы не придумал, а придумывать не пришлось: аптека сделала это за меня и взяла деньги вперёд.

Зрачок и веко останутся такими ещё недели. Мешок больше не растёт, но нерв помнит давление и отходит медленно, как трава из-под камня, который наконец сняли. Дядя Митя этого не заметит. Никто не заметит. Чудо, которое выглядит как ничего, — самое безопасное.

Капли он будет пить и дальше. И советовать.

Завтра Малое Лутово узнает, что «Мартыновские» снимают голову как рукой. Аптека получит рекламу, деревня — опий, я — тишину. Сделка выгодная всем, кроме деревни.

Отучу потом. Или не отучу.

Впереди, за мостом, поднялось жёлтое зарево. Кокшенск.

Кокшенск начался с фонарей. Они стояли вдоль дороги через один: горит, не горит, горит. Город берёг свет так же старательно, как бережёт копейку хозяйка, у которой копеек мало, а гостей много.

Дядя Митя свернул к вокзалу, встал у обочины, не доезжая площади, и включил аварийку.

— Дальше не полезу, мне на разгрузку. Это надолго. Тут дойдёшь, вон он, вокзал.

Площадь была мокрая и пустая. Под козырьком остановки — никого. Табличка с расписанием висела для порядка: последний на Малое Лутово ушёл, а других сегодня не будет. Расписание составлено для тех, кто успел. Остальным оно служит справкой о том, что они опоздали.

Бабушка ждала. Как именно она ждёт, память Тихона знала лучше меня, и тревожить её расспросами я не хотел.

— Ну, — дядя Митя развернулся ко мне всем корпусом, — завтра, значит? Я дома. Два выходных!

Он снова показал два пальца.

— Заходи. Пивка возьмём. А может, и покрепче. Выходной же.

Опий и алкоголь. Оба угнетают дыхательный центр, а вместе сильнее, чем порознь. Человек засыпает и забывает дышать. Сосуд я ему залатал, а дыхание он себе выключит сам, с удовольствием, в выходной, под закуску.

Завтрашнее пиво было не встречей. Контрольным осмотром. С закуской.

Я составил программу осмотра. Зрачки — при свете, сравнить. Веко — сравнить. Дыхание — послушать. Капли — изъять. Пиво — одна бутылка. Покрепче — через мой труп. Через его, если точно.

— Зайду, — сказал я.

— То-то. И чтоб без «вы» мне. Уважение он, понимаешь.

Он потянулся к панели, взял пузырёк и сунул его мне в руку.

— На. Бабке своей отвези. От давления. У них у всех давление.

— Дядь Мить, это от головы.

— Голова, давление — всё одно, — объяснил он. — В голове же.

Фармакология у дяди Мити была простая и, в своём роде, анатомически верная. Доказательная база у неё тоже имелась: полфлакона и одна голова, которая перестала болеть. По меркам местной аптеки это было полноценное клиническое исследование — с контрольной группой из одного человека, с результатами, опубликованными в трёх деревенских редакциях, и с выводами, которые через неделю будет цитировать каждая бабка в округе, ссылаясь на первоисточник: «Митька сказывал, полфлакона — и как рукой».

Опий давление не лечит. Опий лечит желание жаловаться на давление.

Я взял. Отказаться — значит объяснять почему. Объяснять — значит читать латынь вслух человеку, которого эта латынь только что вылечила. Мне он не поверит, а капли поверят ему.

Пункт программы «капли — изъять» выполнился сам. Изъяли их у водителя — в мою пользу и бабушке во вред. Из кабины опий уехал, это хорошо. К бабушке опий едет, это я решу отдельно.

— Спасибо, дядь Мить.

— Да брось. Свои. Бабке привет передавай. Скажи, Митя довёз.

— Скажу.

Скажу, что довёз. А что я довёз его — живым, с залатанной ягодой, мимо моста, — бабушке знать не обязательно. Дяде Мите тоже.

Я открыл дверь и спустился. Подножка на этот раз не поехала. Снег сразу лёг на очки, на треснувшее стекло отдельно, будто знал, куда ложиться. Я протёр их пальцем. Видно стало хуже. Солидности не убавилось.

— Тишка! — крикнул дядя Митя сверху. — А всё ж ты важный стал! «Без штанов», говорит!

Протокол о грушах пополнился новым эпизодом, со слов потерпевшего.

Дядя Митя заржал, захлопнул дверь, выключил аварийку и тронулся. Фура прошла мимо, мигнула мне левым поворотником, как подмигивают, и ушла туда, где разгрузка надолго. Из окна кабины на прощание высунулись два пальца. Выходных по-прежнему было два. Дядя Митя проверял.

Я проводил фуру взглядом до поворота. Смеялся он, а давление поднималось в чужой, уже не моей голове. Я проверил мешок на расстоянии, по привычке. Мешок держал.

Площадь осталась мне. Мокрый снег, пустая остановка, денег — на пирожки, которые уже куплены, ночлега нет. Ночлег — следующий вопрос. Сначала рюкзак.

Вокзал горел на всю площадь. Где окно камеры забытых вещей, память Тихона знала, но отсюда его было не отличить от остальных: окна светились одинаково — что для пассажиров, что для забытых вещей.

Там ждали мои носки, под охраной его светлости. Телефон. Подарок бабушке.

Одна минута стоянки — и вечер пешком, одна смерть, одна фура, одна ягода и полфлакона опия. Это были самые дорогие пирожки в Вологодской губернии.

Опий для бабушки. От давления.

Я пошёл к окну и снова начал считать.

Раз. Два.

Глава 3

Три. Четыре.

Вокзал светился весь, от крыльца до крыши, как операционная, в которой нет ни одного больного: свет есть, кафель есть, лампы гудят под потолком, а оперировать некого. Табло над пустыми скамейками отщёлкивало минуты для поездов, которых до утра не будет, — честно, старательно, как часовой на посту, которого забыли сменить. По полу за мной тянулась мокрая дорожка. Других следов не было.

Пять. Шесть. Окно.

Над окном висела табличка «Камера забытых вещей». Под табличкой — стекло, в стекле полукруглая щель для документов, ровно такой ширины, чтобы прошёл паспорт и не прошло ничего человеческого. За стеклом сидела девушка: миловидная, в форменной куртке, с телефоном в руке. Ночная смена. Телефон был единственным собеседником, который не уходил на перерыв.

Я вынул паспорт из внутреннего кармана и положил в щель.

— Доброй ночи. Рюкзак. Сдан проводницей сегодняшнего поезда, конечная — Кокшенск. Я отстал на полустанке. Стоянка одна минута.

Правде подробности не нужны.

Девушка положила телефон экраном вниз и взяла паспорт. Раскрыла. Посмотрела на снимок, на меня, снова на снимок. Фотография была сделана до канавы, до шести килограммов и до трещины на стекле. Мы с ней были похожи, как дальние родственники на свадьбе: видно, что из одной семьи, но кто чей — не разберёшь.

Девушка улыбнулась.

— Ты меня совсем не узнаёшь.

Это был не вопрос. Так говорю я.

Я посмотрел на неё. Память Тихона молчала.

С Митей она молчала три секунды, а потом сработало ухо. Здесь уха не было. Было стекло, щель и лицо, которое меня знало. Я его не знал.

Руки ушли в карманы.

Стоять. Смотреть. Ждать.

— Ну, Рубцов, — сказала она с удовольствием. — Шесть лет — и всё, вычеркнул?

— Фотография старая, — сказал я.

— Фотография как раз новая. Это ты старый.

Она подпёрла подбородок ладонью и наклонила голову. Ночь, пустой вокзал, табло, которое разговаривает только с поездами, — и вдруг в окне развлечение. Развлечение стояло с руками в карманах и не моргало.

— Обиделась бы, да некогда, — сказала она и постучала ногтем по стеклу, как стучат по аквариуму, чтобы рыбка пошевелилась. — Ну? Думай, Рубцов. Ты ж у нас умный был.

Был. Умным был Тихон. Я пока был тем, кто стоит у окна и ждёт, пока чужая голова соизволит ответить. Прежде я помнил каждую жилу в каждом теле, которое когда-либо держал в руках. Теперь не мог вспомнить одно лицо, которое меня знало. Инструмент мне достался хороший, но отвечал он по своему расписанию, а расписание, как я уже усвоил в этой Империи, составляют не для того, кто ждёт.

Я считал. Девушка одна. Дверь в её каморку — сбоку от окна, закрыта. Зал пуст. Если я сейчас назову не то имя, услышит только она. Одного свидетеля хватает. Тихону на трассе хватило троих, и то с запасом.

— Совсем? — Она вздохнула. — Ладно. Подсказка. Стрижова. Вера Стрижова.

Фамилия упала в память, как монета в автомат, и автомат загудел.

Сначала откликнулся Митин голос из кабины: «…как ты у Стрижовских на тракторе…» За голосом посыпался архив. Деревенская школа, старшие классы. Новенькая. Младшая дочь барона Стрижова. Барон решил, что дочь должна знать людей — чем они дышат, чего хотят, о чём молчат: люди из окрестных деревень работали на его хозяйстве, и знать их следовало в лицо. Дочь отправили в деревенскую школу, как в экспедицию. Экспедиция сидела через ряд и смотрела во все глаза.

Дружбы не было. Вражды тоже. Здоровались. Тихон смотрел в её сторону редко и коротко, как смотрят на чужой трактор: хорош, но не твой.

Архив выложился целиком и затих. Пустое место в нём осталось одно. В памяти Тихона Вера Стрижова жила в отцовском поместье, среди коров и гербов. Почему она сидит в окне камеры забытых вещей, память не объясняла: таких сведений у неё не было.

Я вынул руки из карманов.

Сословие идёт первым. Это правило Тихон знал твёрдо, как дорогу от дома до школы.

— Ваше благородие, — сказал я и наклонил голову. По форме, на нужный градус.

Она поморщилась, как от сквозняка.

— Ой, перестань. Вера. И на «ты», как в школе.

— Как в школе, — согласился я.

Титул и окно выдачи. Обычно у человека бывает что-то одно. У Веры было и то и другое, и титул, судя по форменной куртке, в работе не помогал. В Империи титул положено носить так, чтобы перед ним открывались двери, вставали с мест и умолкали оркестры. А здесь он сидел за стеклом, в полукруглую щель принимал чужие паспорта и выдавал чужие зонты, и единственная дверь, которая перед ним открывалась, вела в каморку с чайником.

Она снова заглянула в паспорт, сравнила.

— Я тебя по фамилии узнала, — призналась она. — По лицу бы не узнала. Тебя чем так?

— Расскажу.

— Расскажешь, — кивнула она.

Паспорт подтвердил личность. Лицо не подтвердило. Империя верит бумаге, и в этот раз бумага была на моей стороне.

Из паспорта торчал уголок сложенного вчетверо листа. Вера потянула его ногтем, не вынимая.

— Это что?

— Направление.

Она подержала уголок ещё секунду, как держат чужое письмо, которое разрешили не читать, и вложила обратно. Потом вернула паспорт в щель и облокотилась на стойку, устраиваясь надолго, как устраиваются у окна, за которым наконец-то что-то происходит.

— Ну, рассказывай, Рубцов. Ты ж в медицинский поступил — вся деревня знала. Направление — это, значит, оттуда? Доучился?

— Доучился.

— А говорить-то как стал. Раньше ты вообще не так говорил.

Экзамен начался без объявления. Как стоянка на полустанке: одна минута, и никто не предупреждает.

— Сначала рюкзак, — сказала Вера. — А то ты сейчас начнёшь рассказывать, а у меня инструкция.

Она ушла вглубь, к стеллажам. Там на полках жили чужие зонты, сумки, один детский самокат и одинокий валенок. Пара от валенка, видимо, доехала до конечной без хозяина и теперь где-то в другом городе так же ждала, когда за ней придут. Вера вернулась с моим рюкзаком в одной руке и толстым журналом под мышкой.

— Распишись. Здесь — дата, здесь — фамилия, здесь — что претензий нет.

Я расписался. Претензий у меня было много, но графа под них не предусматривалась.

Рюкзак встал на стойку. Я расстегнул его и провёл опись. Вещи — на месте. Телефон — на месте, в боковом кармане, вместе со шнуром: проводница сняла его с розетки над своим столиком и сдала по описи, как всё, что числилось за местом. Зарядился. Подарок бабушке — в обёртке, целый. Разворачивать я не стал. Подарки разворачивает тот, кому дарят.

Телефон я подержал в руке и убрал обратно. Звонить было некому. У бабушки мобильного нет. Связь с Малым Лутовым по-прежнему шла по старой схеме: автобус, забор, соседи. Автобус ушёл, Митя на разгрузке, забор до утра молчит. Самое современное устройство в рюкзаке до бабушки дотянуться не могло. Подарок в обёртке мог. Подарку достаточно было доехать.

В журнале над моей подписью стояла чужая, размашистая, с завитком на конце: сдала проводница. За рюкзак сегодня расписались дважды — когда сдали и когда забрали. За меня на трассе не расписался никто.

Вера захлопнула журнал, как захлопывают учебник перед контрольной.

— Всё. Теперь экзамен.

— Экзамен, — повторил я.

— А помнишь, — она прищурилась, — скелет в кабинете биологии?

Память выдала сразу и целиком. Тихон и двое мальчишек на перемене. Учебный скелет из шкафа, пальто учителя с вешалки, шапка оттуда же. Скелет усадили за учительский стол лицом к классу. Учитель вошёл, класс встал. Учитель сказал «здравствуйте, садитесь» и только тогда заметил, что один в классе и не вставал: сидел за учительским столом, в учительском пальто и в учительской шапке, и смотрел на него пустыми глазницами с таким видом, будто это учитель опоздал на урок.

— Помню. Двести шесть костей, пальто сорок восьмого размера. Шапка была великовата, сидела на надбровьях.

Вера моргнула.

— Ты тогда сказал: «Ну, шапка». И всё.

Прежний ответ был короче на двадцать слов. Экзаменатор помнил не факты, а длину.

— А кто мне в первый день сказал, — Вера погрозила мне пальцем через стекло, — что кухарке в деревенской школе кланяются в пояс?

Деревенская столовая, запах капусты и хлорки, длинные столы. Новенькая — младшая дочь барона — приехала изучать народ, а народ первым делом выдал ей инструкцию. Инструкцию составил Тихон.

— Я.

— И я поклонилась!

— В пояс. Кухарка уронила половник.

— В кастрюлю! — Вера засмеялась, вспомнив. — Отец потом неделю спрашивал, чему меня там учат.

Баронская дочь изучала чаяния народа по методичке, которую ей составил сам народ. Методичка была составлена честно и со знанием предмета: народ отлично знал, что дворянину нравится, когда ему кланяются, потому что кланяется ему с самого рождения, по три раза на дню и на всякий случай впрок. А вот как выглядит дворянин, который кланяется сам, народ не видел ни разу, и любопытство было слишком велико, чтобы упустить такой случай. Эксперимент поставили в первый же день, на кухарке, при свидетелях и с половником.

— А трактор? — спросила Вера.

— Три круга вокруг коровника. Четвёртый не дал Митя.

— Я из окна смотрела. Он тебе тогда ухо чуть не оторвал.

— Ухо в порядке, — сказал я. — Проверено.

Сегодня. Лично. Опознание по уху прошло успешно.

Экзамен я сдал. По фактам — на отлично, как Тихон сдавал всё. По голосу проваливал каждый билет. Вера слушала меня так, как слушают знакомую песню в чужом исполнении: слова те, мотив тот, а петь человек начал по-другому — и вроде не хуже, но не так.

— А лицо? — спросила она. — Это тебя кто?

— Упал. В кювет. Не доходя сорок третьего столба, метров сто пятьдесят. Глубина метр десять, под листвой лёд. Приложился скулой о камень. Гранит, размером с кулак.

Слово в слово, как Мите. Деревня соберёт версии и сличит. Цифры должны сойтись.

— Ты столбы считал?

— Считал.

Это как раз была правда. Я считал всё.

— А похудел чего? Ты в школе был… — Она показала ладонями, каким он был в школе. Ладони разошлись шире, чем мне хотелось бы.

— Шесть лет лапши из пакета.

— Лапша тебя, Рубцов, не так уж изменила, — сказала она. — Говоришь как протокол.

Вера улыбалась. Подозрения в её лице не было. Было любопытство: люди за шесть лет меняются, и смотреть на это интересно, как на чужой ремонт — где снесли стенку, а где поклеили новые обои. В Империи чудес нет, поэтому другого объяснения ей и не требовалось. Оно не требовалось никому, кроме меня.

Пора было отвечать вопросом. Тихон задал бы его ещё у окна, в первую минуту. Я опоздал.

Работа в окне выдачи — для простолюдина. Для дочери барона — поместье, которое в памяти Тихона стояло на месте, с гербом на воротах.

— А ты-то что здесь делаешь?

Вера перестала улыбаться. Не сразу: улыбка ещё держалась, а глаза уже ушли на журнал. Она поправила его на стойке, хотя он лежал ровно.

— Долгая история, — сказала она. — У меня перерыв скоро. Чаю хочешь?

Я посмотрел на рюкзак, на ночь за дверями вокзала и на расписание, в котором для Малого Лутова больше ничего не было.

Вера опустила в окне шторку и повесила на стекло табличку «Перерыв». Табличка повисла привычно, ровно, без перекоса: её вешали часто и всегда в одно и то же время, как вешают полотенце в собственной ванной.

Боковая дверь вела в каморку. Стол, два стула, электрический чайник с накипью, на подоконнике три кружки, все разные: одна с гербом губернии, одна с отбитой ручкой, третья в цветочек. Пахло старой заваркой и мокрыми куртками. Каморка выглядела так, будто в ней живут не люди, а их перерывы, и перерывы эти давно смирились с теснотой.

Вера щёлкнула чайником. Я поставил рюкзак у ноги и сел.

Рассказывала она не столько мне, сколько моему диплому. После каждой фразы она смотрела, как я слушаю, и проверяла, не пора ли остановиться. Так больной на приёме выкладывает симптомы по одному, глядя врачу в лицо, а самое страшное держит напоследок — на случай, если врач окажется не тот.

— Ты помнишь, отец коров выписал, — сказала она.

— Не помню.

— Ты уже уехал тогда. Порода дивная. Надои — ого-го. Бычков на мясо брали ещё лучше. Отец говорил, таких во всей губернии нет.

Род Стрижовых сидел на земле столько, сколько память Тихона знала Малое Лутово. Барон понимал в коровах больше, чем банк в бароне. Он выписал лучших. Под лучших взял кредит.

— Померли, — сказала Вера и достала с подоконника кружку в цветочек. Мне досталась с гербом.

— Сколько голов?

— Все.

— За сколько дней?

— Не знаю. Быстро. — Она насыпала заварку прямо в кружки, по ложке, не глядя, как делают это в сотый раз. — Отец знает. Отец теперь мало что говорит.

Я отметил: всё стадо, быстро, у хозяина, который знает коров. Кто знает коров, тот не путает падёж с невезением. Отметил и отложил. Стада не было, туш не было, анализов не было. Был только анамнез со слов дочери, а дочь в коровник не ходила.

— А кредит?

— А кредит остался. — Вера налила кипяток. — Коровы умерли, а кредит нет. Кредиты вообще не умирают.

Это я знал. В моём внутреннем кармане лежал квотный контракт, который пережил Тихона.

— И тут появился друг отца. Старый. Сказал: помогу.

Слово «друг» она произнесла так, как произносят название лекарства, от которого стало хуже.

— Помог, — сказал я.

— Помог. Поместья нет. Земли нет. Дом не наш. — Она поставила передо мной кружку. — Титул остался.

Титул в Империи при разорении не теряется. Его нельзя заложить, нельзя продать и нельзя съесть. Друг отца забрал всё, что можно было забрать, и оставил то, что можно только носить. Очень аккуратный друг. Я представил себе его опись: поместье — изъять, земли — изъять, коровник — изъять вместе с запахом, мебель — по списку, серебро — по весу, а напротив титула, надо думать, стояла честная пометка «Изъятию не подлежит, ввиду бесполезности для хозяйства». Так оставляют погорельцу шляпу: носи на здоровье, от дождя не спасёт, но вид придаёт.

Такую помощь я узнавал по почерку. Мне тоже однажды помогли старые коллеги. Речи были длинные, награды тяжёлые, покой заслуженный. Методик после этого у меня не осталось. Осталось имя, которое я теперь не произношу. У барона хотя бы титул можно произносить вслух.

— Перебрались сюда, — продолжала Вера. — Снимаем квартиру. Небольшую. Отец… — Она подула на чай, хотя пить не собиралась. — Отец пьёт.

— Сильно?

— Каждый день.

Я не спросил, что именно. В уезде, где опий продают от головы, пьют тоже не от жажды.

— А мама слегла.

Диагноза Вера не назвала. Либо его не было, либо его не произносили вслух, как не произносят в приличном доме слово «долг». Я не спрашивал. Её мать я не видел, а видеть нужно мне, не ей.

— В больнице у нас два здания, — сказала Вера. — Дворянский корпус и общий, для простолюдинов. Дворянский платный. А всё, что было, ушло раньше. На коров, на кредит, на друга.

— А общий?

— А в общий она не поедет. — Вера улыбнулась, но не мне, а кому-то за стеной. — Говорит: аристократы на смех подымут. Баронесса Стрижова в общей палате. Лучше смерть.

— А ты?

— А я ей говорю: мам, болезнь-то одна. — Вера покрутила кружку на столе, как крутят ручку настройки, когда станция не ловится. — А она мне: болезнь одна, а соседи разные.

Баронесса поставила себе диагноз точнее любого врача. Болеть она готова. Соседствовать — нет.

Сословная стена в Империи стоит не в законе. Она стоит в кирпиче: два здания, два входа. Болезнь одна и та же, а лежать с ней нужно в правильном корпусе. Баронесса выбрала правильный. Он стоил ей лечения.

Я буду работать в одном из этих зданий. В каком — догадываться не требовалось.

Пальцы сами нашли ручку кружки и повернули её гербом к стене. Я отметил это и отложил: мать Веры не лежала на моём столе, и злиться было не на что, кроме кирпича.

— Меня сегодня Митя подвёз, — сказал я. — На фуре.

— Митя? — Вера подняла глаза. — Дядя Митя? Он же у нас всю жизнь на тракторе…

Она не договорила. Договаривать было незачем.

В кабине я решил: пересел. Теперь знал: пересаживаться стало не с чего. Трактор остался на ферме, ферма осталась у друга, а Митя остался с правами на тяжёлую технику и двумя выходными после рейса. Он показывал мне эти два пальца так, как показывают последнее, что осталось целым.

Вера смотрела в кружку. Я сложил то, что услышал. Барон пьёт. Баронесса лежит. Тракторист возит чужие грузы. Дочь выдаёт чужие вещи. Хозяйство разошлось по Кокшенску, как стадо без пастуха: каждая корова сама по себе, и ни одна не знает дороги домой.

— Пей, остынет, — сказала Вера.

Я отпил. Чай был горячий, крепкий и без сахара. Сахар, видимо, тоже ушёл к другу.

Дверь каморки открылась без стука.

Сначала в дверь вошла пачка печенья, а следом — проводница. Печенье называлось «Путейское» и было уже надорвано, как будто его начали есть ещё в коридоре и не стали дожидаться компании. Проводница была в форменной юбке, в расстёгнутой куртке и в отличном настроении. Настроение вошло первым и заняло всю каморку, так что нам с Верой осталось только то место, где мы уже сидели.

— Верка, я к тебе! Бригада спит, а мне до Москвы ещё…

Она увидела меня, потом рюкзак у моей ноги — и остановилась. Рюкзак она узнала раньше, чем меня: сама сдавала его по описи. Потом расцвела.

Улыбку я узнал раньше лица. Та же. Злорадная, аккуратная, без лишних движений.

— Тамара, — сказала Вера. — Наша, уездная. А это Тихон, мы в школе…

— Да я ж его знаю! — Тамара выдвинула из угла табурет и села к столу третьей, не спрашивая. Пачку бросила посередине. — Верка, это ж мой! С полустанка!

— С полустанка, — подтвердил я.

— Ой, не могу! — Она хлопнула ладонью по столу так, что звякнули все три кружки. — Стоянка минута, а он за пирожками! Я ему рукой машу: давай, мол, бегом! А он стоит. С пирожками. В обеих руках. Как гусь!

Рукой она не махала. Она улыбнулась и закрыла тамбур. Память Тихона подала это крупно, с каждой ресницей, а Тамара уже рассказывала другую историю — свою. В её редакции она вела себя как надо. Гусь вёл себя как гусь.

— Таких за рейс знаешь сколько отстаёт? — Тамара загнула палец, потом второй, потом махнула рукой: пальцев не хватило бы. — А поезд не резиновый. Расписание. Его светлости каждая минута денег стоит.

Минута его светлости стоила денег. Её, наверное, где-то записывали в толстую книгу, умножали на число вагонов, делили на число станций и подшивали в годовой отчёт с золотым обрезом. Моя минута на полустанке стоила вечера пешком до дома, одной смерти и шести килограммов. В деньгах её никто не считал, в книгу не записывал, и в годовой отчёт его светлости она не вошла даже сноской.

— Рюкзак твой я сдала, — сказала она мне через стол, — всё по описи. Мне чужого не надо.

Ей не надо было. Ей было страшно. Служба безопасности его светлости Горчурука воспитывала честность лучше, чем мать.

Вера не смеялась. Она взяла чайник, долила мне кипятка и подвинула кружку ближе ко мне, как пододвигают тарелку тому, кого хотят накормить первым.

— Тома, ты печенье-то открой.

— Да открыто! — Тамара разорвала пачку до конца, посмотрела на Веру и прищурилась. — А ты, ваше благородие, гостей принимаешь? В окошке-то?

Вера пожала плечами и подвинула ей пачку обратно.

— В перерыв принимаю.

Тамара хотела задеть и не задела. Улыбка у неё осталась, только стала уже. Втоптать человека в грязь легко, когда он на перроне с пирожками. Когда он сидит напротив и пододвигает тебе твоё же печенье, грязи под ним не находится.

— А чё, правда одноклассник? — спросила она. — Этот?

«Этот» она сказала так, как говорят о вещи, которую сдали в камеру и забыли.

Я встал.

— Вам чаю, Тамара?

— Ой, налей.

Я снова щёлкнул чайником. Хозяйкой здесь была Вера, а чай гостье я наливал сам. Взял с подоконника последнюю свободную кружку, с отбитой ручкой. Бросил заварку, залил кипятком, подождал, пока чайник перестанет ворчать.

— А с лицом что? — Тамара разглядывала меня с удовольствием, как разглядывают на перроне чужой разбитый чемодан. — На полустанке целый был.

— Упал в кювет. Не доходя сорок третьего столба.

Дальше я выдал всё слово в слово: сто пятьдесят метров, метр десять, лёд, гранит. Вера слышала это второй раз за вечер и не поправила ни одной цифры.

— Ишь, — фыркнула Тамара. — Очкарик, а под ноги не смотрит.

Я посмотрел на неё. Не глазами.

Вот же корова. Здоровья — на десятерых, всё стучит и крутится, как дизель на холостых, и чинить в этом теле было нечего. Кроме одного. В носу, у самого входа, жил стафилококк — свой, домашний, как у каждого третьего. Сидел смирно и ни на что не претендовал: кожа его не пускала.

Я прикинул и это. Короста — болезнь общих полотенец, общих умывальников и общих бригад. В поездной бригаде одно полотенце на десяток человек, один умывальник на всё депо. Если у проводницы утром полезет короста, искать будут того, кто вытирался после неё, а не того, кто налил ей чаю. На меня не выйдут. А свидетель, который помнит меня целым, мне тоже был ни к чему.

Расчёт сошёлся. Только понадобился он не злости: злость всё решила раньше. Троих с трассы я достать не мог. Эта сидела в двух ладонях от меня и держала печенье.

Я поставил перед Тамарой кружку. Ручки у кружки не было, поэтому Тамара взяла её за бока — вместе с моими пальцами.

Касания хватило.

Кожа у ноздрей и в уголках губ стала тоньше там, где держала оборону: местная защита отступила на шаг, как часовой, которому приказали пропустить. Я ничего не добавил и ничего не создал. Я просто открыл дверь, у которой давно стоял её собственный жилец. Работа заняла меньше времени, чем у Тамары уходит на одно «ой». Ничего не ушло, ни грамма. Чужое — даром, в любую сторону.

Сегодня ничего не будет. Завтра, может быть, тоже. Будет, когда она умоется. Вода смоет то, что сидит в носу, и разнесёт по коже, которую я подготовил, — ровно, по всему лицу, как грязь у меня на лице в канаве. Сначала пузырьки. Потом корки, жёлтые, медового цвета.

Дома это называли медовой коростой. Неприятно. Лечится. Я даже знаю чем. Паники будет на весь вагон.

Табу у меня одно: я не врежу тому, кто лежит на моём столе. Тамара на моём столе не лежала. Она сидела за чужим.

— Чего встал? — сказала она. — Садись, ешь печенье. Худой, как семафор.

Я сел и взял печенье. Потом второе. Каждое печенье — запас, а запас мне был нужен. Если мне предстоит наесть щёки до колобка, то начинать с чужого печенья — по крайней мере экономно.

Вера посмотрела на часы над дверью.

— Перерыв всё.

Тамара сгребла пачку «Путейского» со стола. Печенье было её, и уносила она его с тем же удовольствием, с каким принесла.

— Ну, гусь, — сказала она мне, вставая. — В следующий раз за пирожками бегом. Поезд ради тебя стоять не будет.

— Приятного рейса, — сказал я.

Тамара засмеялась и ушла через зал, не оглядываясь, — отсыпаться перед Москвой: до её деревни на другом конце уезда было дальше, чем до рейса. Перед сном она умоется. Все умываются перед сном.

Извинений не было. Я их не ждал. Счёт был закрыт без её участия.

Вера собрала кружки на подоконник — с гербом, в цветочек, с отбитой ручкой, в ряд, как было, — и постояла над ними секунду, как над грядкой, которую только что прополола.

Я поднял рюкзак и закинул на плечо. Рюкзак оказался тяжелее, чем помнило тело.

— Спасибо за чай, Вера. Приятно было увидеться. Но мне в деревню. Бабушку проведать. До выхода на работу времени немного.

— На работу? — Она обернулась. — Куда распределили?

— Земская больница. Здесь, в Кокшенске. Терапевт.

— Терапевт? — Вера посмотрела на меня так, будто я вынул из рюкзака что-то, чего в описи не было. — Здесь? У нас?

— Здесь. По распределению.

— Здесь, — повторила она и помолчала.

Потом заговорила быстро, пока не передумала:

— Посмотри маму. Не сейчас. Как свои дела порешаешь. Дома.

— Дома.

— В больницу она не поедет, я же сказала. А домой-то можно. — Вера опустила глаза на кружки. — Дома никто не видит.

Это была вся сословная медицина Империи в одной фразе. Баронессе можно болеть. Баронессе можно умирать. Баронессе нельзя, чтобы видели. Врача-простолюдина в дом пустить можно: прислуга с дипломом ходит через заднюю дверь. Лечь с простолюдином в одну палату нельзя: это уже соседство.

— А я тебе помогу, — сказала Вера. — Ты ж без денег. Тут таксисты всю ночь стоят. Я попрошу, тебя до Лутова довезут.

Вышло так: мой первый пациент в Кокшенске появился раньше первого рабочего дня — без карты, без направления, без подписи главного врача и даже без собственного согласия. Лечить по бумаге я ещё не умел, а лечить без бумаги уже записался. Плата — поездка до Малого Лутова на чужом бензине.

Мать о визите не знала. Вера не спросила, согласна ли мать. Я тоже не собирался спрашивать.

— Договорились, — сказал я.

— Телефон дай.

Я достал телефон из рюкзака. Вера забрала его, набрала свой номер, позвонила себе и вернула. В кармане её куртки коротко зажужжало.

— Как порешаешь — звони. Адрес скажу. — Она посмотрела на экран моего телефона, где высветились одни цифры. — Запиши меня нормально.

Я записал: «Вера. Окно». Первый номер в этом телефоне, который я внёс сам. Пациентка в нём не значилась. Значилась её дочь, и записана она была по месту выдачи.

Вера вышла со мной из зала на крыльцо. Снег шёл реже и лениво, будто устал за вечер так же, как я. На площади под фонарём стояли три такси с шашками. Таксисты курили у капотов и смотрели на пустую остановку, где ловить было некого.

Вера махнула крайнему.

— До Малого Лутова отвезёшь? Это Тихон, мой одноклассник.

Таксист оглядел меня. Потом рюкзак. Потом снова Веру.

— За так, что ли?

— За так.

Он вздохнул, бросил окурок в лужу и открыл заднюю дверь.

Вокзальная экономика держалась не на деньгах. Деньги на вокзале ночью ходят редко и неохотно, как пассажиры на последний поезд. Она держалась на том, кто кому что выдал, кто кого довёз, кто кому сдал вещи, кто у кого брал в долг печенье и кто кому однажды придержал дверь. Где-то в этой невидимой бухгалтерии у каждого таксиста, буфетчицы и стрелочника был заведён свой лицевой счёт, и баланс по нему сводился не в рублях, а в одолжениях. У баронской дочери не осталось ни поместья, ни земли, ни доверия в банке. Осталось окно, и через это окно она расплачивалась за меня.

— Тихон.

Я обернулся. Вера стояла на крыльце, спрятав руки в рукава куртки.

— А ты всё-таки изменился, Рубцов.

Отвечать можно было по-разному. Точно — нельзя: точность у этого экзаменатора шла в минус.

— Ну, — сказал я.

Вера засмеялась.

— Вот теперь узнаю.

И посмотрела на меня ещё секунду. На одну дольше, чем было нужно, чтобы попрощаться.

Я сел в машину. Таксист захлопнул дверь, обошёл капот, сел и включил печку. Такси тронулось с площади мимо пустой остановки и свернуло туда, где кончался город.

Таксист молчал: ночью за так не разговаривают. Печка дула в колени, как в кабине у Мити. Я снял очки и протёр треснувшее стекло. Видно стало не лучше. Ехать стало теплее.

Экзаменаторов у меня в этом мире было трое, и каждый принимал по своему билету. Вера знала Тихона по школе. Митя — по уху. Бабушка знала его двадцать четыре года, с рук.

Следующий экзамен — дома.

Глава 4

Без двадцати пять утра Тамара вошла в комнату отдыха поездных бригад так, как входят в собственный вагон: первой, не стучась и с полным правом сделать замечание каждому, кто попадётся на глаза.

Свет здесь не выключали никогда. Лампы гудели под потолком, на столе стояли кружки ночной смены, двое резались в карты на перевёрнутом ящике, а на диване спал кто-то из мужиков, накрыв лицо фуражкой. Ноги в носках лежали на подлокотнике.

— Ноги убери, — сказала ему Тамара. — Не дома.

Ноги убрались. Сам спящий не проснулся. Тамара осталась довольна: день начинался правильно. В её мире всё, куда она входила первой, — вагон, тамбур, купе проводников, очередь в буфет и, при удачном раскладе, даже чужая каморка на вокзале, — на время её присутствия переходило в её ведение, и ноги, лежавшие не там, где положено, она убирала с той же лёгкостью, с какой закрывала тамбур перед носом опоздавших. Не со зла. Для порядка.

В раздевалке она разделась и повесила форменную юбку на плечики, потому что форма любит порядок, а проверяющие — ещё больше. Потом пошла в душ.

Вода шла горячая. В комнате отдыха так бывало через раз, и Тамара сочла это хорошим знаком. Она намылила мочалку и взялась за лицо как следует — с нажимом, по кругу, особенно у носа, — так, как мыла стекло в тамбуре перед проверкой. У носа щипало, в уголках губ тоже. Тамара решила, что мыло дрянное, казённое, что с него взять, и потёрла сильнее: казённое надо перетирать, иначе толку не будет.

Пощипывало даже приятно. Так щиплет, когда хорошо отмоешься.

Она завернулась в полотенце и вышла.

В раздевалке переодевались двое из её бригады — новенькая и сменщица. Новенькая сидела на скамейке и застёгивала блузку. Сменщица стояла спиной к ней у шкафчика и искала в сумке расчёску; судя по лицу, искала она её уже третий рейс подряд и ни разу не нашла.

Новенькая подняла глаза.

Пальцы на пуговице остановились. Новенькая медленно прижала ладонь к губам, закатила глаза и поехала со скамейки вбок. На пол она легла аккуратно, почти без звука, как кладут в сумку хрупкое. Даже в обмороке новенькая старалась никому не мешать.

— Ты чего? — спросила Тамара.

Сменщица обернулась на звук. На Тамару она не посмотрела: на полу лежало дело поважнее. Действовала она по памятке, которую раз в год подписывают все, не читая; сменщица, видимо, однажды прочла и с тех пор носила её в голове, как запасную расчёску. Уложила новенькую ровно. Сунула ей под ноги свою сумку, чтобы ноги были выше головы. Расстегнула ворот блузки на две пуговицы — больше памятка не требовала. Сдёрнула с крючка бригадную аптечку, вытряхнула на скамейку бинты, жгут и пластыри и нашла нашатырь. Смочила ватку и поднесла не вплотную, а на ладонь от носа, как учили.

Тамара смотрела с одобрением. Порядок она уважала даже у других.

Новенькая вдохнула, дёрнулась и открыла глаза. Увидела сменщицу. Потом увидела за её плечом Тамару. Рука новенькой поднялась с пола, вытянулась, и палец упёрся Тамаре в лицо через всю раздевалку.

— М-м, — сказала новенькая. — Мм-мм-м.

— Чего «мм»? — Тамара поправила полотенце. — Словами говори.

Сменщица, всё ещё с ваткой в руке, обернулась туда, куда показывал палец.

Ватка выпала. Сменщица не закричала. Про крик в памятке не было ни слова, поэтому сменщица молча, не сводя глаз с Тамары, сделала то единственное, что памятка на такой случай

всё-таки предусматривала: отступила на два шага и встала так, чтобы между ней и Тамарой оказалась пострадавшая. Пострадавшая, судя по всему, не возражала.

Тамара обернулась. За спиной была стена с крючками, на крючках висели полотенца. Нападать оттуда было некому.

— Да что такое?!

Дверь из комнаты отдыха распахнулась. Ввалились все, кто там был: картёжники, тот, что спал под фуражкой, ещё двое. Ввалились — и встали в дверях плечом к плечу, плотно, как в тамбуре на конечной, когда все уже стоят с чемоданами, а двери ещё не открыли. Через порог не шагнул никто.

— Скорую! — крикнул кто-то.

Кто-то уже набирал.

— Да какую скорую! — Спавший больше не спал. Фуражку он держал перед собой, как щит, и голос у него сорвался в визг — высокий, на одной ноте, какого в бригаде за ним никто ни разу не слышал. — Зомби! Я ж говорил! С этого всё и начинается! Сначала одна с лицом, а потом…

Его ткнули в бок. Он замолчал, но фуражку не опустил.

Стало тихо. Новенькая ещё мычала с пола, но уже без прежнего огонька. В душевой капала вода.

— Тамар, — осторожно сказал кто-то из дверей. — Это ты?

Тамара ничего не понимала, но на прямой вопрос ответила прямо. Кивнула.

— А… что у тебя с лицом?

Тамара повернулась к зеркалу над раковиной.

Из зеркала на неё смотрело лицо, завёрнутое в её полотенце. Лицо было красное — не румяное, а мокро-красное, пятнами от лба до подбородка, и пятна сливались. На пятнах блестело жёлтое, цветом как мёд. У ноздрей и в уголках губ жёлтое уже подсохло корками.

Казённое мыло было ни при чём.

Тамара открыла рот. Крик набрался весь, целиком — и застрял на полпути, как поезд перед красным.

Первыми сложились колени. Кто-то из дверей всё-таки шагнул через порог и успел её подхватить.

* * *

Вызов в комнату отдыха поездных бригад пришёл в пять минут шестого — как «нападение». Когда бригада скорой вошла, с порога было ясно, что нападения не было.

На диване лежала женщина в полотенце, укрытая форменной курткой. Вокруг стояли люди — все на почтительном расстоянии, все смотрели ей в лицо. Дальше всех, у самой стены, стоял мужик с фуражкой в руках и держал её так, будто фуражка — последнее, что отделяет его от конца света.

Врач посмотрел тоже. Хватило секунды. Мокнущие эрозии от лба до подбородка, у ноздрей и в углах рта медово-жёлтые корки. Импетиго, обширное. Так быстро оно обычно не расходится, но за двадцать лет на скорой врач видел вещи и пострашнее скорости, и удивляться ей под утро у него не было ни сил, ни ставки. Он надел перчатки, сел на табурет и стал ждать.

Женщина открыла глаза, увидела над собой форму скорой и сразу перешла к делу.

— Вы кто такой?

— Скорая.

— А где нормальный врач?

— Я нормальный, — сказал врач. — Других в эту смену не выдали.

Он объяснил коротко, как взрослому человеку. Импетиго, гнойничковое поражение кожи. Возбудитель — стафилококк, свой, из носа. Корки размочить и снять, кожу обработать,

мазь с антибиотиком два-три раза в день, неделю. Полотенце отдельное. Лицо руками не трогать.

Тамара слушала и трогала лицо руками.

— Мне в рейс! На Москву! Вы понимаете, что такое рейс?

— Понимаю. Вы в него не едете.

— Уколите что-нибудь! Чтоб к рейсу было как было!

— Таких уколов нет.

— Это у вас нет! А у нормальных есть! Я на его светлость работаю!

— Его светлость импетиго не лечит, — сказал врач.

Под окнами у него стояла машина, в машине сидел водитель, а в журнале вызовов ждали ещё четыре адреса: давление на Заводской, бабушка, которая «упала и не встаёт», пьяный, который упал и встаёт, но не туда, и ребёнок с температурой, у которого мать с ночи читала в телефоне про всё сразу. Врачу стало тошно, и усталость, как с ним бывало под утро, полезла наружу шутками — сама собой, без спросу, как пар из-под крышки.

— Давайте ещё раз, — сказал он ласково, как в детском отделении. — Это называется импетиго. Красиво, по-латыни. В народе — короста. Лечится мазью. Уколом не лечится. Криком тоже не лечится, но крик хотя бы бесплатный.

Он достал из укладки зелёнку.

— А это — чтобы видно было, где лечили.

Через минуту лицо у Тамары было уже не красное, а красно-зелёное. Врач считал это шагом вперёд: красного пугаются, а зелёное лечат.

Тамара вдруг спросила тихо, совсем другим голосом:

— Шрамы будут?

— Нет, — сказал врач. — Рубцов не останется.

Он повернулся к остальным. Остальные отступили на шаг все сразу, как по команде.

— Теперь вы. Заболевание заразное. Передаётся контактным путём: руки, полотенца, бельё. — Он посмотрел на мужика с фуражкой. — Фуражкой не отмахаетесь.

Мужик опустил фуражку.

— Все, кто был в контакте, — под наблюдение. Руки мыть. Полотенца — свои. Если на коже полезет — к врачу.

Больше инструкция для взрослых не требовала. Врач посмотрел на полотенца на крючках, на мужика с фуражкой и на дверь, в которую здесь входили только толпой и только до порога, и пожалел, что взрослым она отпускает так мало. Но инструкцию он знал наизусть и писал по ней.

Он переписал фамилии: две проводницы, пятеро мужиков. Себя вписывать не стал — он был в перчатках. Тамару записал отдельно: отстранена до выздоровления.

— Старший смены у вас кто? — спросил врач, не поднимая головы от журнала. — Зовите.

Картёжник, сидевший ближе к двери, встал и вышел. Сделал он это так привычно, будто за начальством на этом вокзале всегда посылали именно его.

Старший смены пришёл быстро. Ключи на кольце он держал в кулаке, как будто собирался что-то запирать, и, судя по лицу, ещё не решил, что именно.

— Помещения, где находилась больная, подлежат дезинфекции, — сказал врач. — Комната отдыха, раздевалка, душевая. Контактные — семь человек — под наблюдением. Работают, руки моют, полотенца свои.

Старший смены считал вслух. Семь человек. Бригада. Рейс. Подмена. Дезинфекция. С каждым словом голос у него садился на полтона, как у человека, который спускается по лестнице в подвал и с каждой ступенькой видит всё меньше.

— Наблюдение — это как? — спросил он. — Работают они или нет?

— Работают. Руки моют. Если полезет — к врачу.

— А если полезет в рейсе? — Старший смены посмотрел на диван, потом на дверь, потом туда, где за дверью, за вокзалом и за всей губернией сидела служба безопасности его светлости. — В вагоне. При пассажирах. С Тамариным лицом. Кто тогда отвечать будет — наблюдение?

Врач пожал плечами: отвечать за наблюдение в его журнале было некому, кроме самого наблюдения.

— Нет, — решил старший смены. — Пишу карантин. Десять суток, чтоб с запасом. И к составу — только по справке о допуске. Пусть врач напишет, что чистые.

Врач подумал, что старший смены, сам того не зная, только что перевёл семерых взрослых людей на режим средней группы детского сада: те же десять дней, та же справка, только без горшков. Возражать он не стал. Бумага была не его, подпись тоже. А взрослые в этой комнате визжали при виде прыщей, падали в обморок от чужого лица и прятались за фуражкой, так что режим, если вдуматься, был подобран по возрасту.

Потом старший смены замолчал и посмотрел на диван. На диване лежала Тамара — зелёная, под курткой.

Лицо у старшего прояснилось.

— Его светлости каждая минута денег стоит, — сказал он. — Кто принёс, тот и платит. Дезинфекция и простой — за счёт сотрудницы, по вине которой возникла необходимость в дезинфекции и простое. Так в рапорте и напишу.

Мужик с фуражкой поднял руку, как в школе.

— А простой… оплачивается?

— Оплачивается, — сказал старший смены. — Ею.

В комнате отдыха стало очень тихо. Новенькая перестала шмыгать. Картёжники переглянулись, и каждый молча пересчитал своё. Мужик с фуражкой наклонился к дивану — на безопасное расстояние.

— Тамар, ты это… лечись. Не торопись.

Тамара смотрела на старшего смены. Слова доходили до неё по очереди: сначала про дезинфекцию, потом про простой, потом про «ею». Последнее дошло вместе с лицом.

Она закрыла глаза. Голова мягко съехала с подлокотника.

Врач взял её за запястье и посчитал пульс. Пульс был ровный. Обморок — второй за утро.

Хоть в чём-то пациентка была стабильна.

* * *

Такси встало у крайнего столба Малого Лутова, когда небо над лесом посерело. Таксист довёз за так ровно до того места, где кончался асфальт. Дальше начиналась деревенская дорога, а деревенская дорога в договор не входила, тем более в договор, который никто не подписывал.

— Приехали, — сказал таксист. Это было первое слово за всю дорогу.

— Спасибо.

Он развернулся на мокрой обочине и уехал обратно к вокзалу, где за так никого не возят, а за деньги возить некого.

Дом память выдала сразу, без всякой зацепки. Двадцать четыре года — это не зацепка, это адрес. Третий от колодца, синие наличники, яблоня у забора. Та самая.

Из трубы шёл дым, ровный и густой. Печь затопили давно. Кто топит печь до рассвета, тот встал раньше рассвета.

Я остановился у забора.

Скрипнула дверь сеней. На крыльцо вышла бабушка: телогрейка поверх халата, платок, в руках миска. Надежда Павловна. Имя пришло вместе с ней — не первым, как в канаве, и не после подсказки, как с Верой. Одновременно, будто имя и человек всегда ходили вместе и по отдельности не выдавались.

Она спустилась с крыльца и пошла к курятнику. Из курятника её уже приветствовали. Куры знали расписание лучше любого вокзала. На вокзале расписание висело под стеклом, его печатали, утверждали, подписывали и всё равно нарушали в пользу тех, кому положено «по требованию». У кур расписания не было ни на стене, ни на бумаге — оно было в головах, маленьких и твёрдых, и ни одна курица ни разу в жизни не опоздала к миске и не задержала её ради знатной соседки. Будь у его светлости Горчурука хоть один такой курятник, он мог бы распустить свою службу безопасности и сэкономить на ней половину годового отчёта.

Я стоял и смотрел.

Руки ушли в карманы.

Считать.

Эта женщина знала Тихона с рук. Купала, кормила, завязывала шарф двойным узлом. Двадцать четыре года против одной ночи. Если где-то в этом мире во мне и могли увидеть чужого, то здесь.

Стоять. Не уходить.

Бабушка шла не торопясь, по натоптанной тропке, и ставила ноги туда, где не скользко. До курятника у неё вышло двадцать два шага. До калитки у меня — три.

Рука вынулась из кармана сама.

Просунулась между штакетинами, нащупала изнутри защёлку и откинула её вверх, с подворотом. Как это делается, я не думал. Голова этого не знала. Знала рука: тело Тихона открывало эту калитку столько раз, что голова в этом давно не участвовала, как не участвует в том, чтобы моргать. Я отметил: память живёт не только в голове. Отметил и другое: защёлка болталась на одном гвозде.

— Ба.

Голос был сиплый, Тихонов. Тихон звал её так. Другого слова у меня не было, и это оказалось правильным.

Бабушка обернулась. Посмотрела. На лицо — дольше, чем на всё остальное: взгляд нашёл скулу, ссадины, треснувшее стекло, и каждую находку она отметила и пока отложила — совсем как я. Миску она поставила на чурбак у курятника. Не уронила — поставила. Куры подождут.

Потом она раскрыла руки.

Я не знал, что с ними делать. Прежде меня награждали. Обнимали реже.

Руки решили сами. Тело Тихона знало и это.

Она оказалась маленькая, макушкой мне под подбородок. От телогрейки пахло дымом и хлебом, и ещё чем-то, чему у меня не было названия, а у Тихона, видимо, было, но он мне его не оставил.

— Вернулся, — сказала она мне в куртку.

Она отстранилась, взяла меня за рукав и повела в дом. Ни про лицо, ни про ночь не спросила. Раз ведут — значит, спросят потом.

В сенях пахло холодом и дровами. В доме пахло всем остальным.

Хлеб — свежий, из печи, с корочкой; запах стоял плотно, от пола до потолка, и выйти из него было некуда. Поверх хлеба — сладкое: пирожки. А снизу, из печи, в хлеб пробивалось мясо: что-то томилось там давно, в чугуне под крышкой, и никуда не торопилось.

На столе под полотенцем лежала гора. Гора состояла из пирожков.

Я встал на пороге и сосчитал, не удержавшись. Каравай — один. Пирожков под полотенцем, по высоте горы, — десятка три. Мяса — на семью. Семьи в доме было двое: она и я.

— Ба, ты гостей ждёшь?

Бабушка сняла платок и посмотрела на меня с хитринкой.

— Внучок, я, может, и постарела, а считать не разучилась. Ты в письме что написал? «Защитился, скоро буду». Защитился ты в конце февраля. Потом распределение. Потом дорога. Я и посчитала: не вчера, так сегодня, не сегодня — так край завтра.

— А если б завтра?

— Так я и вчера пекла. — Она улыбнулась. — Ты не приехал, я соседскую ребятню пирожками накормила. Ребятня довольная.

Вот откуда это у Тихона — счёт. Он считал деньги, шаги, машины на трассе. А бабушка считала его. И её счёт сошёлся, а у расписания поезда — нет. Расписание составляли для тех, кто успел. Бабушка составляла для того, кто едет.

Пирожки. Вчера Тихон отдал за пирожки минуту стоянки, вечер пешком и жизнь. Эти лежали на столе даром, и сколько их ушло соседской ребятне, бабушка не считала. Здесь пирожки не стоили ничего.

— Руки мой, — сказала бабушка. — Садись.

Она поставила передо мной тарелку. Потом вторую, с пирожками. Потом вынула из печи чугун и сняла крышку. Мясо, которое пахло с порога, показалось целиком — с картошкой, с луком, в собственном соку. Половник бабушка не жалела.

Я ел. Еда — запас. Шесть килограммов, оставленных в канаве, сами не вернутся; их надо наесть обратно, и начинать лучше с бабушкиного чугуна, чем с вокзального печенья.

Бабушка не ела. Она сидела напротив, подперев щёку ладонью, и смотрела, как ем я, — так смотрят на печь, которая наконец разгорелась.

— Ну как?

— Приемлемо.

Бабушка подняла бровь.

— Вкусно, ба, — сказал я.

— То-то.

Слово «приемлемо» было моё, не Тихоново. За этим столом своих слов лучше не держать.

— Лицо-то что?

Вот и первый билет. Сорок третий столб уже стоял у меня на языке, со ста пятьюдесятью метрами, метром десять и гранитом размером с кулак. Мите этого хватило. Вере — с избытком: «Говоришь как протокол». А протокол бабушку насторожит.

— Упал, — сказал я. — Ну.

Бабушка встала, обошла стол и взяла меня за подбородок сухими тёплыми пальцами — теми самыми, что завязывали шарф двойным узлом. Повернула скулой к окну, к свету. Посмотрела так, как смотрят на кринку, прежде чем налить: свежее или уже нет. Я не сопротивлялся. Голова у меня в эту минуту принадлежала ей.

Потом она отпустила, достала из ящика комода медный пятак, обтёрла его о халат и положила на клеёнку рядом с моей тарелкой.

— Приложи.

Я приложил. Пятак был холодный.

— Падают, Тиша, по-разному, — сказала бабушка, садясь обратно. — Ну так ну.

Так Тихон отвечал всю жизнь, и всю жизнь ей этого хватало. Хватило и сейчас. Только теперь я знал, что хватило не потому, что она поверила. Она решила поверить. Сорок третий столб я оставил при себе — для деревни.

— А отощал-то как.

— Лапша, ба.

— Говорила я тебе: ешь.

— Ем.

— Очки чего треснули?

— Упал же.

— Жить где будешь? У меня или там, в городе?

— Скажут на месте.

Это была правда. Где мне жить, в направлении не говорилось. Направление интересовалось только тем, где мне работать.

— А платить сколько будут?

— Хватит, ба.

Сколько будут платить, я не знал. Хватит ли — тоже. Бабушке хватило и этого.

— А работать где? В барском корпусе?

— В другом.

— И правильно, — сказала бабушка без всякой обиды. — В барском тебя бы за дверью держали. А в нашем хоть к людям пустят.

Вера объясняла сословную стену через кирпич: два здания, два входа. Бабушка обошлась одной дверью. Вышло короче и точнее.

Бабушка подложила мне мяса из чугуна и смотрела, как я ем. Смотрела не в лицо, а в тарелку.

— Ты ж лук-то сроду выбирал, — сказала она.

Я посмотрел в тарелку. Лук лежал там, где ему положено, — в мясе, и я ел его вместе с мясом, как ел бы всякий, кто не знал, что его надо выбирать.

— Вырос, ба.

Бабушка ничего не сказала. Посмотрела ещё секунду — дольше, чем на моё лицо у калитки, — и подложила мне ещё. С луком.

— Невесту не присмотрел?

— Потом, ба.

— Потом, — согласилась она таким тоном, что «потом» должно было наступить скоро и без моего участия.

Я вспомнил про подарок. Тихон покупал его на санитарские деньги: ночные смены, ведро, швабра. Я достал свёрток из рюкзака и положил перед ней.

Бабушка развернула обёртку аккуратно, чтобы бумага пригодилась ещё. Внутри был телефон — простой, кнопочный, с крупными цифрами. Тихон выбирал его под её глаза и её пальцы.

Бабушка взяла телефон двумя руками, как берут яйцо из-под несушки: тёплое, и раздавить страшно.

— Это чего?

— Телефон, ба. Чтоб на связи. Я в городе буду.

— Куда ж я с ним?

— Никуда. Он сам.

Я включил его и записал свой номер. Показал: зелёная кнопка — звонить, красная — класть. Бабушка повторила вслух:

— Зелёная — звонить. Красная — класть.

Считать она умела и раньше. Теперь у неё была ещё и инструкция.

Я позвонил с её телефона себе. В кармане у меня зажужжало. Я записал номер: «Ба». Это был второй номер, который я внёс в свой телефон сам. Первым был номер «Вера. Окно».

Бабушка подождала, пока я уберу телефон, и нажала зелёную. У меня в кармане зажужжало снова. Я достал телефон и ответил.

— Алло, — сказала бабушка через стол, в трубку, громко, как в поле.

— Слышу, ба.

— Работает, — сказала она, нажала красную и посмотрела на телефон с уважением. — Через стол слышно.

Через стол было слышно и без телефона. Но связь была установлена, проверена и признана годной. До сих пор связь Малого Лутова с Кокшенском держалась на заборе: новость передавали через забор соседке, соседка — через свой забор следующей, и так от двора к двору, до автобусной остановки. По дороге новость обрастала подробностями, как снежный ком, и

к Кокшенску доходила в трёх редакциях, ни одна из которых не совпадала с первоначальной, зато все были интереснее. Теперь эта линия связи впервые обошлась без единого забора — и, по всему, деревня ещё не знала, сколько потеряла.

— Митя довёз, — сказал я. — Вчера. Привет передавал. Велел сказать: Митя довёз.

— Митю не видала ещё. Видать, в рейсе.

Значит, разгрузка затянулась, а выходные отодвинулись. Митины капли ехали теперь со мной, но это была одна склянка из многих: аптеки на трассе стоят чаще столбов, и новую он купит в первой же, как только заболит голова. Мешок держит: я проверял его на площади. А пиво поверх опия в его выходные — это уже не мешок, это дыхание, и проверять его надо при нём. Я отложил. Не потому, что успокоился, а потому, что Митя был в рейсе, до работы оставались сутки, а догонять пешком то, что уехало, я в этом мире уже пробовал.

— Он тебе ещё капли передал, — сказал я. — От давления.

Бабушка засмеялась — громко, от души, так что прикрыла рот ладонью.

— Какое давление? Это Митька всё меряет по себе. У меня его сроду не было. Я здорова как слон.

Я мог проверить. За секунду, через стол, не касаясь.

Моя рука лежала на клеёнке, в двух ладонях от её руки. Ближе я её не сдвинул.

— Невесту, значит, потом, — сказала бабушка и начала собирать тарелки. — А встретил кого?

— Веру Стрижову. На вокзале.

Тарелки остановились.

— Баронскую?

— Она в камере забытых вещей работает. Ночью, в окне. Рюкзак мне выдала. Чаем напоила.

Бабушка поставила тарелки обратно на стол. Это была новость, а новость требовала, чтобы руки были свободны.

— Барышня, — сказала она. — Не про нас.

Помолчала.

— А какая она стала?

— Хорошая, ба.

— Хорошая, — повторила бабушка и посмотрела на меня так, будто «потом» только что сдвинулось на неделю ближе.

Про Тамару я не сказал. Про Верину мать тоже. Вера просила: дома. А дома — значит, без свидетелей. Бабушка в свидетели годилась лучше всех: от неё новость дошла бы до последнего двора к обеду, а к ужину вернулась бы обратно, уже с подробностями, которых я не говорил.

— Мутная это история, — сказала бабушка, усаживаясь. — Барон-то неплохой человек. Работу деревенским давал, платил нормально. Митька у него трактористом сколько лет был. А потом связался с этими… экзотическими.

— С коровами.

— С коровами. Кенийская горбатая. С горбом, как у верблюда, ей-богу. Издалека везли. Надои, говорили, такие, что вёдер не напасёшься. А они возьми да и передохни. Все. Меньше чем за год.

Меньше чем за год. Вера сказала: быстро. «Отец знает». В Вериной редакции падёж занимал одно слово, в бабушкиной — год. Где-то между ними лежал счёт по дням, но его знал только барон, а барон теперь мало что говорит.

— Из Имперской ветеринарной службы приезжали, — продолжала бабушка. — Разбирались. И вынесли: климат наш им, видите ли, не подходит. Нахватались разных инфекций и передохли.

— Климат, — сказал я. — А в Кении какой климат, ба?

— А мне почём знать? — Бабушка пожала плечами. — Жарко, небось. Служба знает. На то она и служба.

Служба знала. Деревне знать не полагалось: деревне полагалось верить. Бабушка верила без всякого удовольствия — так верят прогнозу погоды, когда за окном идёт снег, а по радио обещали солнце.

— Климат. А Степаныч наш, пока за ними ходил, был уверен: травит их кто-то. Он за ними как за детьми ходил. Только доказательств-то нет. А с Имперской службой не поспоришь. У них там лаборатории, экспертизы, на кривой кобыле не подъедешь.

Тропическая корова с горбом в вологодском марте. Чтобы написать «климат», выезжать было не нужно: такое пишется из столицы, не отрываясь от стула. Служба всё-таки выехала. Привезла лаборатории, увезла вердикт, который был готов до лабораторий. Вердикта удобнее не придумаешь. Климат — идеальный обвиняемый: он не нанимает адвоката, не пишет жалоб, не просит отсрочки и не уезжает из губернии. Его нельзя допросить, нельзя арестовать, а признание вины он подписывает каждое утро, просто наступая. И главное — климат никогда не возвращает кредит, а значит, и спрашивать с него никто не станет.

Теперь сложить. Барон понимал в коровах — это память Тихона знала твёрдо. Человек, который понимает в коровах, выписал коров, которые в его климате умирают. Значит, либо барон в коровах не понимал. Либо коровы умирали не от климата.

Почерк я узнал. «Помощь» друга после падежа, вердикт, который нельзя оспорить. Аккуратная работа: ничего лишнего, всё по форме.

Пациенты были не мои. Плоть есть плоть, коровья тоже: прежде мне доводилось собирать существ посложнее коровы. Но для работы нужен материал. Туш не было, анализов не было, был анамнез со слов бабушки, а бабушка в коровник не ходила. Из чужого пересказа не соберёшь ни корову, ни вывод.

Я в отпуске.

— Пойду дров наколю, ба.

— Наколи, — сказала бабушка. — Топор в сенях.

Топор был в сенях, там, где его оставлял Тихон. Поленница стояла у сарая. Я колол. Чурки разлетались на две половины, половины — на четвертушки. Работа простая и честная: дерево не врёт, где у него волокно, и не делает вид, что всё дело в климате.

Бабушка шла мимо с ведром, остановилась и посмотрела, как я ставлю чурку.

— Руки-то помнят, — сказала она.

— Помнят, ба.

Руки помнили. Голова только училась.

Потом я носил воду. Потом бабушка позвала держать дверь курятника, пока она меняла подстилку. Куры смотрели на меня так, как смотрят на нового санитара: без доверия, но и без претензий.

Потом калитка. Молоток и гвозди нашлись в ящике под крыльцом — тоже там, где помнила рука. Защёлку я снял, выпрямил скобу и посадил на два гвоздя вместо одного. Проверил: откинул, закрыл, откинул. Ходит. Бабушке я ничего не сказал. Она увидит, когда пойдёт к курятнику.

Солнце опустилось к лесу. Бабушка вышла на крыльцо и позвала ужинать.

Я обернулся к поленнице. Поленница выросла. Сколько поленьев я наколол, я не знал. Сколько вёдер принёс — тоже. Который час — тоже.

Я перестал считать. Когда — не заметил.

Прежде такое со мной случалось, только когда я спал.

Вечер ушёл на ужин. Бабушка сидела напротив, держала телефон на коленях и время от времени нажимала зелёную кнопку, не набирая номера, — просто проверяла, что кнопка на месте и никуда за день не делась.

— Ты там с начальством не спорь, — сказала она между пирожками.

— Не буду, ба.

— Начальство спорщиков не любит. Особенно барское.

— Начальство у нас земское.

— Земское тоже не любит, — сказала бабушка. — Оно просто денег меньше получает.

Тихон в институте шесть лет не спорил с начальством. Бабушкин совет совпадал с маской, которую я собирался носить, до последней пуговицы. Спорить я и не собирался. Я собирался соглашаться и делать по-своему.

Ночь ушла на сон. Спал я на кровати Тихона, под его же лоскутным одеялом, и тело узнало кровать раньше, чем я: повернулось на правый бок, подоткнуло край под плечо и затихло. Снов не было. Прежде я спал по часу между работами. Здесь проспал до серого окна, и никто меня не разбудил.

Бабушка ещё спала. Печь остыла до тёплого.

Я вышел во двор, обошёл сарай и встал за ним, подальше от курятника. Достал пузырёк. «Мартыновские», от головы. Мелкую латынь перечитывать было незачем: я её помнил.

Пункт программы «капли — изъять» выполнился ещё в Кокшенске. Оставался пункт «капли — вылить». Я открутил пробку и вылил полфлакона в снег. Снег под ними побурел и осел, будто ему стало стыдно. Пахло спиртом и горечью. Через неделю сойдёт и это.

Отдавать было некому. Бабушке давление не нужно, Мите опий не нужен, а курам тем более. Пузырёк я ополоснул снегом и сунул обратно в правый карман. Пустой. Пузырьку в этих краях верят больше, чем доктору. Пригодится.

Когда я вернулся, бабушка уже стояла у печи.

— Чего так рано?

— Привычка, ба.

Бабушка завернула мне пирожки в полотенце, потом в газету, потом в пакет. Пирожков вышло столько, что рюкзак застегнулся со второго раза.

— Это на сколько? — спросил я.

— На сколько хватит.

Больше вопросов про пирожки я не задавал. Здесь пирожки не считали.

Она вышла меня проводить. У калитки остановилась и подёргала защёлку. Защёлка не болталась.

— Это кто ж её?

— Ну, — сказал я.

Бабушка посмотрела на меня, потом на защёлку, потом снова на меня.

— Ну так ну, — сказала она и откинула защёлку. Рука у неё прошла то же движение, что у меня вчера: вверх и с подворотом.

До остановки идти было мимо Митиного двора. Двор стоял пустой, без фуры. Значит, в рейсе.

— Мите передай, — сказал я, — увидимся. Посидим. Как только, так сразу.

— Передам. Он про тебя первый спросит.

— Скажи: доехал. Митя довёз.

— Скажу.

Автобус подошёл вовремя — единственное в Империи, что пришло вовремя за последние два дня, не считая бабушки. Она обняла меня ещё раз, коротко, по-деревенски, и отступила на шаг.

— Приезжай чаще.

— Приеду, ба.

— Телефон не выключай. — Она показала свой кнопочный, в ладони. — Зелёная — звонить. Я помню.

Я сел у окна. Автобус тронулся. Бабушка стояла у остановки, пока он не повернул, и рукой не махала. Держала телефон. Наверное, ждала, что он сейчас зазвонит.

Дорогу я не считал — ни столбы, ни повороты, ни минуты. За окном шла талая вода, наст, чёрные поля, деревни, которые память Тихона знала по названиям, а я нет. Я смотрел.

Автобус встал на привокзальной площади Кокшенска. Днём площадь оказалась меньше, чем ночью, и грязнее. Фонари не горели ни через один, ни подряд.

Я вышел. Мне надо было в больницу, и дорога туда шла мимо торца вокзала.

На служебной двери в торце висел лист. Белый, свежий, приклеенный скотчем крест-накрест. Чтобы сорвать такой, нужна была смелость. Смелых на вокзале не нашлось.

«КАРАНТИН.

Комната отдыха поездных бригад закрыта на дезинфекцию.

Причина: импетиго.

Срок: 10 (десять) суток.

Посторонним вход воспрещён».

Внизу стояли подпись и печать. Диагноз на листе был набран крупнее срока. Врачебная тайна в этом здании держалась ровно до скотча. Вокзальная медицина вообще работала на редкость открыто: диагноз выносили на дверь, как расписание, чтобы каждый проходящий мог сверить его со своим и обойти стороной; печать удостоверяла, что болезнь настоящая и казённая; а пропись «десять» стояла в скобках на тот случай, если кто-нибудь из пассажиров усомнится в цифре и захочет оспорить карантин в суде.

Я знал, кто здесь умывался.

Обмороков я не видел. Врача тоже. Видел лист. Этого хватало, чтобы понять остальное: пузырьки вышли, корки встали, Тамару сняли с рейса, а комнату, в которой она, скорее всего, командовала, закрыли на ключ.

Поезд ради неё стоять не стал.

Извинений по-прежнему не было. Они мне больше и не требовались.

Десять суток. Я снова начал считать.

Глава 5

Снег кончился у ворот. Дальше начиналась территория, на которой ему не разрешали лежать.

Я остановился на границе. С моей стороны лежала каша из талого снега, песка и вчерашних следов. С той стороны тянулся сухой асфальт, тёмный и чистый, будто его только что вымыли и вытерли полотенцем. Аллею грели снизу. Снежинка долетала до неё и таяла сразу, не дожидаясь разрешения. Даже снег здесь соблюдал сословия: за воротами ему лежать не полагалось.

Я оценил размах. Где-то под этой аллеей наверняка лежали трубы, по трубам шла горячая вода, горячую воду грела котельная, котельную топили углём, уголь привозили и оплачивали из губернского бюджета — и всё это ради того, чтобы подошва дворянина, ступившего из машины к подъезду, ни разу в жизни не узнала, что в Вологодской губернии бывает март. Шесть лет Тихон ходил на ночные смены по колено в слякоти. Здесь слякоть отменили указом — правда, только на ширину одной аллеи и только до того места, где кончались дворяне.

Ворота были кованые, с вензелем, наконечники пик позолочены. Забор по обе стороны — монолит, облицованный плиткой под камень; поверху те же пики, уже без позолоты. Позолоту тратили там, куда смотрят. За забором стояли голубые ели, туи, подстриженные шарами, можжевельник. Начало апреля, Вологодская губерния, а здесь зелено. Зелень, как и асфальт, кто-то оплачивал.

У проходной — турникет, шлагбаум и окно. В окне — охранник. Я положил на стойку направление.

— Рубцов Тихон. Терапевт. По распределению. Как пройти в отдел кадров?

Охранник взял направление и стал читать. Читал по слогам, шевеля губами, как читают инструкцию к прибору, который боятся сломать. Дочитал до печати. Печать его успокоила.

— Кадры — в главном. Первый этаж, налево, служебный коридор, до конца. Дверь без таблички. Стучать.

Он нажал кнопку. Турникет пискнул и пропустил меня — пискнул неуверенно, будто ещё сомневался.

Дворец стоял в конце аллеи. Пять этажей жёлтой штукатурки, белые пилястры, портик на шести колоннах. На фронтоне — герб губернии, тот же, что на кружке, из которой я пил чай у Веры. Кружка с гербом досталась мне. Дворцу досталось всё остальное.

К старому фасаду пристроили стеклянный куб входа. Двери разъехались передо мной сами и шикнули, как шикают в библиотеке на того, кто вошёл в мокрых ботинках. У полукруглого подъезда стояла табличка: «Только для пациентов дворянского корпуса». Я пациентом не был и вошёл пешком.

В холле играла музыка — тихо, чтобы не мешать болеть. Пальмы в кадках, мрамор, стойка, как в гостинице. Над стойкой светилось табло: МРТ, КТ, роботохирургия. Девушка за стойкой посмотрела на мой рюкзак, потом на треснувшее стекло очков.

— Вы на процедуру? — спросила она тоном, каким уточняют, не ошиблись ли вы дверью.

— В кадры.

— А, — сказала она. — Это налево. Это не к нам.

Я свернул налево, в служебный коридор. Мрамор там кончился так же, как снаружи кончился подогрев, — ровно там, куда переставали смотреть дворяне. Дальше пошёл линолеум, а за ним — краска на стенах, уставшая от собственного цвета.

Дверь без таблички. Я постучал.

— Да-а.

Стол, шкафы с папками, чайник, цветок на подоконнике. За столом — женщина в блузке с бейджем: «Жанна Эдуардовна. Отдел кадров». В руке телефон. Из телефона быстро и с обидой говорил чужой голос:

— …и тут он ей, представляешь, говорит…

Жанна Эдуардовна подняла палец. Не мне — воздуху. Палец означал: голосовое ещё не кончилось, а ты ещё не начался.

Я ждал. Голосовое тянулось долго, как очередь, в которой стоят не за делом, а за новостями, и до самого интересного так и не дошло: что именно он ей сказал, подружка перенесла в следующее сообщение.

— Ну ты даёшь, — сказала Жанна Эдуардовна телефону. Потом посмотрела на меня. — Вам чего?

— Рубцов Тихон. Терапевт. По распределению.

Я положил направление на стол. Она взглянула на него, как на квитанцию, которую всё равно придётся оплатить.

— Документы.

Я выложил из внутреннего кармана всё: паспорт, диплом, квотный контракт. Жанна Эдуардовна сгребла стопку ладонью вместе с направлением и убрала в ящик. Ящик закрылся с тем мягким щелчком, с каким закрываются вещи, которые не собираются открываться по первой просьбе.

Контракт пережил Тихона, канаву и трассу. Ящик стола он пока не пережил. Впервые с канавы контракт лежал не у меня.

— Без визы главного не оформляю, — сказала Жанна Эдуардовна. Она взяла бланк, написала на нём две строки, шлёпнула штамп и протянула мне. — Пятый этаж. К главному.

На бумажке были штамп, подпись и моя фамилия. Всё, что от меня осталось на руках.

— Благодарю, — сказал я.

— Угу.

Телефон у неё в руке завибрировал. Подружка вернулась к тому, что он ей сказал.

Бабушка велела с начальством не спорить. Начальством Жанна Эдуардовна не была, но и спорить было не о чем: документы у неё, бумажка у меня. Обмен неравный, зато по форме.

Я вышел и закрыл за собой дверь. Империя верит бумаге. Вся моя бумага лежала теперь в чужом ящике, а при мне осталась одна, со штампом. По ней я пока и существовал.

Через дверь донеслось, как она зажала кнопку и надиктовала — громко, с выражением, на радость подружке:

— Опять квотника прислали. С рюкзаком.

Лифт до пятого этажа ехал бесшумно. Здесь даже лифт старался не беспокоить.

Приёмная начиналась с ковра. Ковёр был такой толщины, что шаги в нём тонули, как жалобы. Вдоль стены стояли кожаные кресла, на столике — графин с водой и ваза с конфетами в золотых обёртках. За столом у двери сидела секретарь и стучала по клавиатуре. На меня она посмотрела один раз — так смотрят на погоду за окном: отметила и вернулась к делу.

— К главному. Из кадров, — сказал я и показал бумажку со штампом.

— Ждите.

Я сел в кресло. Кресло приняло меня, как принимают человека, который ошибся креслом: вежливо, но с явным сомнением. Конфеты я не тронул. Их ставили не для меня, а для тех, кто сидел здесь до меня и будет сидеть после.

Из окна была видна вся территория: аллея, ели, туи шарами, проходная. За дворцом дымила котельная, а дальше, за насыпью, стояло что-то низкое, двухэтажное, без пилястр. Сверху оно выглядело как сарай, который забыли снести.

Ждать пришлось недолго — секретарь за это время успела дважды ответить на звонок и один раз поправить вазу, развернув её конфетами к двери. Судя по ковру, у такого главного

обычно ждут часами, и мне, выходит, повезло. Везение, как я скоро понял, выдавали по той же ведомости, что и всё прочее: малыми порциями и в долг.

— Проходите.

Кабинет был вдвое больше приёмной. Стол, над столом портрет кого-то в мундире, под портретом барон — седой, гладко выбритый, в дорогом костюме, с запонками. Человек, который доживает до пенсии и не видит причин торопиться.

— Ваше благородие, — сказал я и наклонил голову на нужный градус. — Рубцов. Терапевт. По распределению.

Барон Стрекачев не поздоровался. Сесть не предложил. Стулья в кабинете стояли, но стояли не для меня. Смотрел он не на меня, а на бумажку у меня в руке. В руки не взял. Прочёл издали, как читают объявление на заборе.

— Шляются тут разные нищеброды, — сказал он бумажке. — Во второй корпус. К заведующему. Он тебя определит. И вообще надоели всех ко мне посылать.

Я посмотрел на него внимательнее, чем он на меня.

Итог вышел короткий: сердце по возрасту, печень человека, который пьёт умеренно и только дорогое, а в предстательной железе, в периферической зоне, — узел с горошину. Опухоль. Маленький, гладкий, сидит смирно и капсулу не трогает, как чиновник, который двадцать лет числится на своём месте и ни разу не попросился выше. С такими живут годами и умирают от чего-нибудь другого. Барон о ней не знал. Анализ, который её показывает, берут из вены, а кровь у главного врача никто не берёт: для этого пришлось бы попросить барона.

Опухоль у него была под стать хозяину. Она никуда не спешила, ничего не делала, на приёмы не ходила, бумаг из чужих рук не брала и, как и хозяин, спокойно доживала до пенсии на хорошем месте, в тепле, под портретом, за казённый счёт, — не исключено, что с правом на подогретую аллею и персональную вазу с конфетами. Если бы её когда-нибудь нашли, ей, пожалуй, тоже не предложили бы сесть.

Касания не будет — ни для лечения, ни для чего другого. Руки барон простолюдину не подаёт, а бумажку из моих рук взять побрезговал. Брезгливость защищала его надёжнее любой охраны. От чего именно — он и сам не знал.

Я убрал это знание туда же, куда убирал всё ценное. Себе.

Барон уже смотрел в монитор. Разговор, по его расчётам, закончился. По моим тоже. Но голова у меня в эту минуту была занята периферической зоной, и рот сработал сам, по привычке человека, которому всю жизнь объясняли дорогу.

— А как туда пройти?

Барон поднял глаза. Впервые — на меня, а не на бумажку. Посмотрел так, как смотрят на грязь, которая вдруг заговорила.

Отвечать он не стал. Протянул руку к селектору, нажал кнопку и сказал в него, глядя мимо меня, в окно:

— Я главный врач, а не указатель на столбе. Кадры ко мне. Немедленно.

Кнопку он не отпустил. Ждал ответа. Меня в кабинете больше не было — ни у двери, ни на ковре, ни в Империи.

Я отступил к двери бочком, не поворачиваясь спиной. Так выходят из клетки с крупным хищником или из кабинета начальника; разница в протоколе небольшая. Нашёл ручку. Вышел. Закрыл дверь аккуратно, без звука.

За дверью селектор ещё работал:

— …эту дуру из отдела кадров. Сюда. Я ей объясню, где раки зимуют. И кого ко мне можно направлять, а кого нет.

Секретарь подняла голову от клавиатуры. Впервые за всё время она посмотрела на меня с интересом — так смотрят на камень, который скатился с горы и уже кого-то задел.

— Благодарю, — сказал я ей.

— За что?

— За ожидание.

Она не поняла. Я и не рассчитывал.

Визы главного на бумажке так и не появилось. Барон её не подписал — он вообще не взял её в руки. Бумажка вернулась ко мне в карман такой же, какой была: штамп, подпись кадров, моя фамилия. Без визы, которую требовали кадры, и с дорогой во второй корпус, которую мне не объяснили.

Лифт вниз тоже ехал бесшумно. Где-то внизу, в служебном коридоре, сейчас вставали из-за стола и откладывали телефон, не дослушав голосовое.

Пищевая цепочка в этом здании работала исправно. Сверху вниз.

Дорогу во дворце я больше не спрашивал. Девушка у стойки уже сказала, что я не к ним. Главный врач уже сказал, что он не указатель. Оставался человек, который утром прочёл моё направление до самой печати.

Я вернулся по аллее к проходной. Снег на аллее по-прежнему не лежал.

— Второй корпус, — сказал я в окно. — Как пройти?

Охранник вышел из будки, чтобы показать рукой. Показывал он старательно, всей рукой от плеча, как показывают дорогу иностранцу.

— За главный. Мимо котельной, через двор. Там тропинка. Увидишь.

Потом он посмотрел на меня. Не на направление, не на рюкзак — на меня. Так смотрят на человека, которому выдали путёвку и не сказали куда. Он открыл рот, подумал и закрыл.

Больше он не сказал ничего. Сочувствие здесь выдавали вместо информации: сочувствие ничего не стоило и ни к чему не обязывало.

Подогрев кончился на углу дворца — без предупреждения, без таблички, одной ровной линией, как обрезанный ножом. С этой стороны — сухой асфальт, с той — талый снег по щиколотку. Ботинки узнали его сразу: трасса, обочина, Тихоновы ботинки, казённая вода.

Дальше начинался хозяйственный двор. Прачечная выдыхала пар из решётки. У мусорных баков сидели вороны, сытые и наглые, как буфетчицы в конце смены. Котельная гудела и дымила в небо. Она грела аллею. Тропинку не грел никто.

Тропинка была протоптана по насту в одну ногу шириной. Две ноги на ней не помещались, и я пошёл, как по канату: левая, правая, левая. По такой тропинке ходят гуськом. Видимо, простолюдины в этом корпусе и лечились по одному.

За насыпью стоял второй корпус.

Сверху, с пятого этажа, он выглядел как сарай, который забыли снести. Вблизи — тоже. Два этажа, кирпич под облезлой штукатуркой; штукатурка отходила пластами, как кожа после ожога. Крыльцо с деревянным пандусом, доски прогнулись посередине: по нему возили.

Окон было двенадцать. Деревянных рам девять, с замазкой и бумагой в щелях. Пластиковых три, и все три — разного белого. Каждое меняли в свой год, на свои деньги и, судя по всему, по своему случаю: одно — когда в палате замёрз больной, другое — когда в палате замёрз проверяющий, а третье — когда кто-то из благодетелей решил остаться в истории губернии и спонсировал ровно одно окно, с табличкой, которую потом украли. Если читать фасад слева направо, он рассказывал историю финансирования земской медицины лучше любого годового отчёта, и ни одна глава в этой истории не кончалась хорошо.

После дворца это было как выйти из операционной в морг. Ведомство то же, губерния та же. Только смотреть сюда никто не собирался.

Я поднялся на крыльцо и открыл дверь.

Дверь вела сразу внутрь — без холла, без тамбура, без пальм. Стойка, две лавки вдоль стены, каталка у стены напротив. Лампа над стойкой. Пахло хлоркой и мокрой тряпкой.

Приёмный покой. Слово всплыло из памяти Тихона вместе с запахом: шесть лет ночных смен, ведро, швабра. Память опознала помещение раньше меня. Вход и приёмный покой здесь были одним и тем же. Экономили на дверях.

За стойкой сидела женщина. Немолодая, прямая, будто её поставили к стойке по команде и забыли скомандовать «вольно». Короткая стрижка. Халат застёгнут на все пуговицы.

— Где болит? — спросила она, не здороваясь.

Колени у меня чуть подогнулись сами, как под команду «ложись». Я выпрямился.

— Нигде. По распределению. Новый врач-терапевт. Рубцов.

Женщина посмотрела на меня ещё раз, уже как на коллегу. Взгляд потеплел на полградуса — по её меркам это было почти объятие.

— А. Тогда беги на второй, к заведующему. Беги, пока у него приём. Операций сегодня нет, а после обеда он не принимает.

Сказала она это ровно, как расписание автобуса, и посмотрела на меня на полсекунды дольше, чем требовало расписание. Хирург, у которого нет операций и который после обеда не принимает, бывает двух видов. По её взгляду я понял, какого.

— Заведующий — он же хирург, — добавила она. — Другого у нас нет. Сестёр не хватает, днём я тут за сестру. Фельдшер Раиса Фёдоровна.

— А там? — Я кивнул туда, откуда пришёл.

— А там для благородных. И для тех, кто платит. — Она пожала плечами. — Тут для простых. Ты где был-то?

— У главного.

— Ну, — сказала Раиса Фёдоровна, и в этом «ну» было всё, что она думала о главном, вместе с выводами и резолюцией.

Она закашлялась. Кашель был сухой, низкий, из нижних отделов, и шёл приступами. Я посчитал: три за минуту. Отметил. Отложил.

На дальнем конце лавки, лицом к стене, сидела женщина в платке. Платок был повязан низко, по-деревенски, хотя пальто было городское. Из-под платка, у виска, виднелось зелёное. Женщина говорила по телефону, тихо и зло:

— …и простой ещё на меня повесили. Семь человек на десять суток. Ага. Нет. Не пройдёт. Найду нормального врача, пусть напишет…

Голос я узнал раньше, чем понял, чей он. «Ой, не могу». «Как гусь». «Верка».

Шаг у меня сам стал короче и тише — как у санитара, который проходит мимо палаты, где спит буйный.

Идти. Не оборачиваться.

Лестница на второй этаж начиналась за каталкой. У лестницы стоял рентген-аппарат, старый, громоздкий, под чехлом, как мебель в доме, откуда давно уехали хозяева. Я прошёл мимо него, мимо лавки, мимо зелёного виска. Ступени скрипели, каждая по-своему.

Женщина у стены не обернулась. Ей было не до лестницы. Ей надо было найти нормального врача.

Нормальный врач поднимался на второй этаж, к заведующему, который скоро напьётся.

Второй этаж начинался с коридора. Линолеум вздулся у стыков пузырями. Вдоль стены — пустые лавки. Справа и слева двери, на дверях таблички, написанные от руки. Где тут кто, я не знал. Память Тихона здесь не работала: он здесь тоже не работал.

Я пошёл по табличкам. «Процедурная». «Сестринская» — зачёркнуто, сверху приписано «Склад». «Заведующий» — эта была напечатана на принтере. Хоть кто-то в этом корпусе заслужил шрифт.

Я постучал и вошёл.

Пожелтевшие жалюзи, шкаф с историями болезней, рама подоткнута ватой. За столом — мужчина лет за пятьдесят, в халате поверх свитера. Небритый, но не сегодня: щетина была уже не небрежностью, а решением, принятым давно и окончательно. На стене диплом в рамке.

Пахло килькой и спиртом.

Мужчина резко накрыл что-то на столе газетой. Резко — но поздно. Я успел увидеть налитую стопку и бутерброд из чёрного хлеба, на котором лежала килька. Не одна — три, хвостами в одну сторону, на равном расстоянии друг от друга, как по линейке.

Хирург. Даже закуску раскладывает, как инструмент. Я бы не удивился, если бы под бутербродом нашлась стерильная салфетка, справа от него — нож лезвием к тарелке, а сам бутерброд, перед тем как отправиться по назначению, проходил бы у хозяина предоперационный осмотр, обработку краёв и проверку, все ли кильки на месте после вмешательства. Порядок на столе у этого человека был такой, какого в его корпусе не было больше нигде, и держался он, судя по всему, на одной закуске.

Газета легла поверх. Стопка под ней образовала бугорок, и вышло похоже на маленького покойника под простынёй. Всё как положено: прикрыли и сделали вид, что ничего не было.

Он посмотрел на меня, как смотрят на санинспектора, пришедшего без звонка.

— Ну?

— Рубцов Тихон. Терапевт. По распределению. Меня к вам направил главный врач.

Третий раз за утро. Я начинал говорить это лучше, чем своё прежнее имя.

— Сапрыкин. Глеб Ильич. — Он протянул руку через стол. Ладонью вверх. Не для рукопожатия. — Документы.

— Документы в отделе кадров.

Рука повисла в воздухе. Потом медленно легла на газету, прямо на бугорок. Стопка под ней звякнула.

Сапрыкин вздохнул — длинно, всей грудью, как вздыхает человек, у которого отняли то, ради чего он вообще сегодня пришёл на работу.

— Назад, — сказал он. — В кадры. Пусть отдаст.

Я повернулся к двери.

— Стой.

Я остановился.

— Бог с тобой, — сказал Сапрыкин и потёр лицо ладонью. — Сейчас ты туда, она тебя обратно, потом опять туда. Знаю я её. Бери бумагу. — Он выдвинул ящик, достал лист и ручку и толкнул их через стол. — Пиши заявление о приёме. Я сразу подпишу. И скажи этой мымре, чтоб оформила сразу. А то будешь тут курьера изображать. Она это умеет.

Я сел на стул для посетителей. Стул качнулся: одна ножка была короче. Санитарские шесть лет подсказали, где у такого стула центр тяжести, и я сел туда.

— Пиши, — сказал Сапрыкин. — Вверху справа. Главному врачу земской больницы города Кокшенска, его благородию барону Стрекачеву Модесту Аполлоновичу.

Я писал.

— От врача-терапевта Рубцова Тихона. Полностью, как в паспорте.

Сапрыкин заглянул в лист вверх ногами.

— Разборчиво пишешь, — сказал он с подозрением. — Не приживёшься.

— Ниже, посередине: «Заявление». С большой. Дальше с красной строки. Прошу принять меня на должность врача-терапевта второго корпуса земской больницы города Кокшенска по распределению, в соответствии с выданным мне направлением и заключённым квотным контрактом.

— Второго корпуса, — повторил я.

— Второго. — Он хмыкнул. — На бумаге мы второй. По жизни — последний. Но пишут нас вторым, это у них тоже для красоты.

Пока он диктовал, я посмотрел на него внимательнее, чем он на меня.

Печень увеличена, жирная, по краю уже уплотнение: фиброз пошёл. Ещё несколько лет такой закуски — и цирроз. Сердце в порядке, руки в порядке: тремора нет. Пьёт, но рукам ещё не сказал.

Печень просила. Я в отпуске.

— Подпись, дата, — сказал Сапрыкин. — Дату не ставь. Пусть она ставит. Ей за это деньги платят.

Он развернул лист к себе, прочёл, кивнул и размашисто расписался в углу: «Не возражаю. Сапрыкин». Подул на подпись. Потом посмотрел в окно, на дворец за насыпью. Отсюда было видно только два верхних этажа.

— У них там робот, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Свои врачи. Лучшие в городе. А надо — из Вологды выпишут, из Москвы. Деньги всё решают. — Он помолчал. — Дворянам — робот без хирурга. Нам — хирург без робота.

Я ждал. Он протянул мне лист.

— Иди. И в кадрах не застревай. Задерживать она любит.

— Спасибо, Глеб Ильич.

— Иди уже.

Я вышел и закрыл дверь.

За дверью сразу зашуршала газета. Звякнуло стекло. Плановых сегодня не было. Внеплановое шло по расписанию.

Я спустился по скрипучей лестнице. Женщина в платке сидела на прежнем месте, лицом к стене, и снова кому-то звонила. Заявление я сунул во внутренний карман, туда, где утром лежал контракт, и прошёл мимо лавки тем же коротким тихим шагом, к двери.

Тропинка обратно оказалась той же ширины. Подогрев начался на том же углу.

Дверь отдела кадров была распахнута. Утром её держали закрытой, чтобы не мешали. Теперь мешать было уже нечему.

Жанна Эдуардовна сидела за столом прямо, как сидят после ковра: дыхание ещё не вернулось, а спина уже на месте. Щёки красные, пятнами. Телефон лежал экраном вниз. «Перекличка» молчала: подружке, видимо, рассказали про главного, и подружка затихла из уважения.

Я постучал по открытой двери.

Жанна Эдуардовна подняла глаза, и лицо у неё прояснилось. Так светлеет лицо у человека, который полчаса стоял под чужим криком, а теперь видит, кому этот крик можно передать дальше.

— Ру-убцов, — сказала она нараспев. — Заходите. Заходите, Рубцов.

Я вошёл и положил на стол заявление.

Она прочла его один раз. Потом второй, медленнее, с карандашом, будто искала в нём не ошибки, а слабое место, куда можно поставить ногу.

— Не по форме.

— Что именно, Жанна Эдуардовна?

— Всё. — Она постучала карандашом по резолюции Сапрыкина. — «Не возражаю». А виза где? Я вам утром что сказала? Без визы главного не оформляю.

Я кивнул. Со всем, что говорит начальство, я согласен.

— Главный врач, — сказал я, — велел передать, что он не указатель на столбе. Мне сходить к нему ещё раз? За визой?

Карандаш остановился.

Жанна Эдуардовна посмотрела на дверь. Дверь вела в коридор, коридор — к лифту, лифт — на пятый этаж, где ей только что объяснили, где раки зимуют и кого к главному можно направлять, а кого нет. Меня — нельзя. Это ей теперь было известно лучше всех.

— Не надо, — сказала она. — Заведующий подписал — и ладно.

Виза главного осталась там же, где была. Нигде.

— Копии документов, — сказала Жанна Эдуардовна уже другим тоном, деловым и сладким, как чай, в который положили сахар, чтобы не было видно, что он остыл. — Паспорт, диплом, контракт. Копир на третьем этаже. Платно.

— Оригиналы у вас с утра, — сказал я. — В ящике.

— Значит, заберёте и сделаете.

— Будьте любезны. Денег у меня нет.

— Это не мои проблемы, Рубцов.

— Конечно. Я подожду.

Я снял рюкзак, поставил его на стул для посетителей, расстегнул и достал бабушкин пирожок — не первый за утро: в автобусе я ел их всю дорогу, по одному на каждую деревню, которую память Тихона знала по названию. Полотенце, газета, пакет: бабушка упаковывала на совесть, как упаковывают документы, которые должны пережить переезд. Еда — запас. Шесть килограммов сами не вернутся, а ждать предстояло неизвестно сколько.

Я откусил.

Запах сразу пошёл по кабинету — печной, домашний, тяжёлый. Он лёг на шкафы с папками, на цветок на подоконнике, на чайник, на бейдж Жанны Эдуардовны и, по ощущениям, проник в личные дела за последние десять лет. Кабинет кадров пах бумагой и духами. За одну минуту он запах Малым Лутовом — капустой, печью, тестом и бабушкиной правотой. Против этого запаха у отдела кадров не было ни одной формы, ни одного бланка и ни одного параграфа инструкции, по которому его можно было бы оформить, вернуть на доработку или подшить к делу как нарушение. Его можно было только вытерпеть или выставить за дверь вместе с хозяином.

Жанна Эдуардовна смотрела на пирожок так, будто он явился в кадры без визы.

— Вы что делаете?

— Жду, Жанна Эдуардовна. Вы сказали — не ваши проблемы. Я с вами согласен.

— В кабинете не едят. — Она показала карандашом на дверь. — Ждите в коридоре.

— Конечно. — Я поднялся и взял рюкзак. — Только оригиналы пусть пока у вас полежат. Без них меня не оформить. А без оформления мне, наверное, опять к его благородию. Спросить, как быть.

Карандаш опять остановился.

Жанна Эдуардовна посмотрела на дверь — ту самую, что вела к лифту, — потом на меня с пирожком, потом на ящик. Пирожок она бы вытерпела. Второй разговор с пятым этажом за одно утро — нет.

Я сел обратно и откусил ещё. Крошка упала на заявление. Я её аккуратно стряхнул.

Жанна Эдуардовна выдвинула ящик. Достала мои документы. Встала. Вышла из кабинета, стуча каблуками так, будто каждым шагом подписывала мне выговор. Вернулась быстро, с ещё тёплыми копиями. Оригиналы положила передо мной стопкой, как сдают карты проигравшему.

— Ваше, — сказала она. — Оригиналы не храним. Только копии.

Паспорт. Диплом. Квотный контракт. Я убрал всё во внутренний карман. Контракт вернулся на место. Ящик стола он всё-таки пережил.

Пирожок я доел. Выбрасывать запас нерационально.

Дальше она оформляла и проговаривала вслух, громко, полными формулами, будто диктовала самой себе под протокол:

— Принят на должность врача-терапевта второго корпуса земской больницы города Кокшенска по распределению, на основании заявления, подписанного заведующим вторым кор-

пусом. — Поставила дату. — Личное дело заведено. — Захлопнула папку. — Место в общежитии для молодых специалистов предоставлено. Ключ у заведующего.

На слове «общежитие» она улыбнулась. Первый раз за день. Не мне — бумаге.

Бабушка спрашивала, где я буду жить. Я ответил: скажут на месте. Сказали.

— И пропуск, — добавила Жанна Эдуардовна. — К начальнику охраны. Цокольный этаж, у служебного входа. Без пропуска вас на территорию пускать не обязаны.

— Спасибо, Жанна Эдуардовна.

Она не подняла глаз от папки. Положила на неё ладонь, как кладут ладонь на голову ребёнку, которого не собираются отпускать гулять.

— Личное дело ваше теперь у меня, Рубцов, — сказала она ласково. — Три года.

Начальник охраны сидел в кабинете с табличкой на двери и смотрел в монитор. Меня он выслушал, не отрываясь от экрана. Потом, не оборачиваясь, ткнул большим пальцем через плечо, в дверь у себя за спиной.

— К дежурному. Я пропуска не делаю. Я ими руковожу.

Дежурный, молодой парень в форме, снял меня на камеру над монитором, не попросив снять очки. Через минуту выдал пластиковую карточку. На карточке было моё лицо с треснувшим стеклом, фамилия и строка: «Дворянский корпус. Сотрудник».

Утром меня пустили на территорию по направлению. Пропуск понадобился, когда я уже был внутри. Пропуск в здание, где я работать не буду. Во втором корпусе турникета не было, там дверь открывалась рукой. Пропуск был выписан по всем правилам, на твёрдом пластике, с печатным шрифтом и фотографией, и открывал мне двери дворца, куда меня не звали, мраморный холл, где я был «не к ним», лифт, который не беспокоил, и, надо думать, подогретую аллею, по которой мне незачем ходить. Во второй корпус, где мне предстояло работать три года, он не открывал ничего, потому что там нечего было открывать. Это был самый полный документ из всех, что выдала мне Империя, и самый бесполезный.

Я убрал карточку во внутренний карман, к контракту. Бумаг у меня теперь было больше, чем утром. Прав — столько же.

Тропинка обратно оказалась той же ширины. Я и не надеялся.

На втором этаже газета на столе Сапрыкина лежала уже не бугорком, а плоско. Бугорок ушёл по назначению. Сам Сапрыкин сидел, откинувшись в кресле, и смотрел в окно на дворец — с выражением человека, который давно перестал с ним спорить и теперь просто следит, чтобы тот не подходил ближе.

— Оформила? — спросил он, не поворачиваясь.

— Оформила, Глеб Ильич. Сказала, ключ у вас.

Он выдвинул ящик, пошарил и вынул ключ на проволочном кольце. Протянул, не вставая. Ключ был старый, тяжёлый, с длинной бородкой. Такими ключами запирают то, что не жалко.

— Вниз по лестнице. До конца, — сказал Сапрыкин. Подумал и добавил: — Там тихо.

Я спустился.

В приёмном покое Раиса Фёдоровна стояла у стойки с журналом. Женщина в платке больше не сидела лицом к стене. Она стояла перед стойкой, уперев руку в бок, и платок сполз у неё на затылок. Лицо было зелёное, от лба до подбородка. Под зелёным подсыхали корки.

— Вот, — сказала Раиса Фёдоровна, увидев меня. — Как раз новый терапевт. Сегодня приёма нет. Запишу вас к нему на завтра.

Тамара обернулась.

Сначала она меня не узнала. Потом посмотрела на очки с треснувшим стеклом. Узнала.

— Гусь?! — Голос у неё взлетел на октаву. — Ты?! Доктор?!

— Доктор, — сказал я.

— Ой, не могу! — Она хлопнула ладонью по стойке. Раиса Фёдоровна придержала журнал, как придерживают ведомость при сквозняке. — Это ж мой, с полустанка! Стоянка минута, а он за пирожками. Я ему рукой махала, кричала: давай, мол, бегом! А он стоит. С пирожками. Как гусь!

Рукой она не махала и не кричала. Она улыбнулась и закрыла тамбур. За два дня редакция подросла на один крик.

Раиса Фёдоровна посмотрела на Тамару, потом на меня. Вопросов не задавала. За стойкой приёмного покоя она слышала редакции и похуже.

— Ты мне, доктор, вот что напиши. — Тамара развернулась ко мне всем корпусом. — Что карантин этот лишний. Десять суток на семерых! Я, что ли, детский сад? А платить кто будет? Я! За всех! Пусть нормальный врач напишет, что не надо было.

Медицински она была права: с карантином для взрослых перестарались. Права она была на чужой ошибке, а за правдой пришла к тому, из-за кого всё началось.

Можно было уклониться. Приказ подписан сегодня, приёма у меня ещё нет: «Обратитесь к другому врачу». Другой врач посмотрел бы на корку, которая вышла за одну ночь. Потом посмотрел бы, как быстро она сходит. И стал бы думать. Короста, которая вышла за ночь, — одна странность. Её списали на заразу. Вторую спишут на того, кто был рядом.

Что держишь в руке, то не украдут.

— Записывайте, — сказал я Раисе Фёдоровне.

Раиса Фёдоровна открыла журнал на чистой странице и написала, проговаривая вслух:

— Завтра. К девяти. Терапевт Рубцов. Повторный осмотр.

— К девяти, — повторила Тамара, будто это она меня записала. — Смотри не опаздывай, доктор. Поезд ради тебя стоять не будет.

— Приятного дня, Тамара, — сказал я.

Я пошёл к лестнице. Не наверх — вниз.

Тамара проследила за мной взглядом. Увидела, куда идёт доктор.

— В подвал? — Она засмеялась так, что корки в уголках губ треснули. — Ой, не могу! Я на его светлость работаю, а он в подвале живёт!

Она платила за простой семерых. Я жил в подвале. Счёт за день сравнялся.

Лестница вниз была короче, чем наверх, и темнее. Пахло сыростью и трубами. Внизу тянулся коридор с одной лампочкой, которая светила так, будто её тоже сюда распределили по квоте. В конце коридора была дверь.

На двери висела старая табличка: «Рентген-кабинет». Поверх неё краской, от руки, крупно: «Общежитие». Краска легла неровно, и из-под «Общежития» проступал «Рентген» — как проступает правда из-под официальной версии, если версию писали наспех.

Ключ подошёл с первого раза.

Внутри стояла двухъярусная кровать, небольшой стол, две тумбочки, обшарпанный шкаф. Под потолком — лампочка без плафона. Окна не было. Стены толстые, гладкие, крашеные. Я постучал по стене костяшкой. Звук ушёл в стену и не вернулся.

Кроватей — две, одна над другой. Тумбочек — две. Жилец — один. Пока.

Свинец. Рентген-кабинет строили так, чтобы лучи не выходили наружу. Моё тело выдаст переделку на любом снимке, и свинец от этого не спасал: снимок делают в аппарате, а не сквозь стену, и ложиться в аппарат я не собирался. Зато свинец спасал от другого. Сквозь такие стены не проходит ни звук, ни любопытство соседей. Мастера моего уровня обычно годами ищут подходящую мастерскую: чтобы не видели соседи, не заходили проверяющие, не пробивались чужие глаза. А тут мастерская нашлась сама, с готовыми свинцовыми стенами в три пальца толщиной, бесплатно, по распределению, с печатью кадров и под видом заботы о молодом специалисте. Империя, которая официально отрицала чудеса, выдала единственному чуду на

своей территории комнату, из которой не слышно ни крика, ни шёпота, — и даже записала это в отчёт как социальную поддержку.

Я сел на нижний ярус. Пружины ответили за всю больницу сразу. Достал телефон. Нажал «Ба».

— Алло! — сказала бабушка громко, как в поле.

— Это я, ба. Добрался.

— Ну слава богу. Оформился?

— Оформился.

— С начальством не спорил?

— Не спорил.

По букве — правда. Я соглашался с каждым, кто говорил со мной сверху вниз, и делал по-своему.

— А жить где?

— Общежитие дали.

— Хорошее?

Я посмотрел на лампочку, на свинцовые стены, на дверь, где «Рентген» всё ещё проступал из-под «Общежития».

— Тихое, ба.

— Ну и ладно. Пирожки ешь.

— Ем.

— Ну всё. Красная — класть.

И положила.

Я положил телефон на ближнюю тумбочку.

В каморке у Веры Тамара сидела за чужим столом. На моём она не лежала.

Завтра в девять она ляжет на мой стол. Табу у меня одно.

Я лёг на нижний ярус и начал считать. До девяти.

Глава 6

Тысяча сто девяносто восемь. Тысяча сто девяносто девять.

Дверь открылась на тысяча двухсотой.

До девяти утра таких тысяч оставалось ещё много, и я собирался пересчитать их все. Свет я выключил, как только лёг: в комнате без окна темнота — единственное, чего здесь было вдоволь, и считать в ней удобнее, ничего не отвлекает. Счёт здесь — единственные часы, которые никто не отберёт и не поставит на баланс. Но на тысяча двухсотой часы встали.

Кто-то вошёл. Света он не зажёг. Дверь прикрыл за собой без звука, как прикрывают её там, где живут втихую: в таком месте выключатель — первый доносчик. Темнота была полная, без единой щели. Рентген-кабинет строили так, чтобы наружу из него ничего не просачивалось, и внутрь теперь тоже не просачивалось ничего. Три шага по бетону — ровных, без нащупывания: так ходят по комнате, в которой знают каждый угол. У себя. Дыхание чужое, усталое, с присвистом человека, который за смену ни разу не присел.

Тело Тихона решило за меня. Дыхание у меня само стало редким и ровным, как у спящего. Раз исчезнуть нельзя, надо хотя бы спать: спящих не трогают. Так, во всяком случае, считало тело.

Лежать. Считать.

Человек сел. Нет — упал. Всем весом, спиной вперёд, как падают на кровать, которую давно считают своей. Кровать с ним согласилась. Я — нет.

Из меня вышел звук. Не слово — воздух, выжатый из груди одним нажимом, как из дыхательного мешка на реанимации.

Человек взлетел обратно быстрее, чем падал.

— Ой!

Свет вспыхнул. Рука нашла выключатель у двери не глядя, с первого раза, как находят выключатель у себя дома. Таиться было больше не от кого.

Я провёл опись. Рёбра: двенадцать пар, все на месте, каждое при своём номере. Грудина цела. Печень возражений не заявила. Телефон на тумбочке не пострадал. Шесть килограммов, которые это тело отдало за починку, сейчас пригодились бы: было бы чем амортизировать. Худоба, как выяснилось, опасна не только на морозе, но и под чужой усталостью.

Я приподнялся на локте. С кряхтением — тело имело на него полное право.

— И что это значит? — спросил я.

Передо мной стоял парень. Молодой, худой, из тех, на ком халат висит, как на вешалке в гардеробе после закрытия. Под халатом — свитер с вытянутыми локтями. Глаза человека, который отработал смену и рассчитывал на подушку, а не на собеседника.

— Ой, — сказал он ещё раз. — Извините. Я не знал, что тут кто-то есть. Я тут обычно, — он поискал слово помягче и не нашёл, — отсыпаюсь. После смены.

— Обычно, — повторил я.

— Ну… да. — Он подумал и уточнил, как уточняют люди, которые надеются, что подробность их оправдает: — По графику.

— По чьему?

— По своему.

Я сел. Нижний ярус скрипнул. Парень посмотрел на рюкзак у тумбочки, на телефон, на меня. Вещей у меня было немного, но лежали они по-хозяйски, и он прочёл это раньше, чем я успел что-нибудь сказать.

— Рубцов, — сказал я. — Терапевт. С завтрашнего дня.

Сколько раз за сутки я это произнёс — уже сбился со счёта. Впервые — сидя на кровати, на которую упал посторонний.

— Сергей, — сказал он. — Медбрат. Здесь, во втором. — Помедлил. — Платина.

— Платина?

— Фамилия.

— Редкая.

— Детдомовская. — Он пожал плечами, как пожимают на вопрос, который задают все. — Подкинули меня. На крыльцо. Оформляли — кто-то пошутил. Имя дали самое простое, а фамилию самую дорогую. — Тут он оживился: шутку эту он рассказывал не впервые и успел к ней привязаться. — Платиной записали, чтоб хоть что-то у меня было дорогое. Работает: живу, как в сейфе. Под свинцом.

Казна выдала сироте фамилию из драгоценного металла. Больше она ему ничего не выдала.

— Губернское медучилище, — продолжал Сергей. Видимо, решил: раз уж упал на врача, надо доложить полностью, как на обходе. — Направили сюда. Сироте квартира положена.

— Положена, — сказал я.

— Второй год обещают.

— Очередь?

— Очередь. Я в ней стою. Она тоже стоит.

— А общежитие?

— Общежитие положено молодым специалистам. — Он кивнул на дверь так, будто снаружи висел закон, а не табличка. — Врачам. А я медбрат. Не специалист.

На двери снаружи было написано «Общежитие», а из-под краски проступал «Рентген». Сергей не значился ни под той надписью, ни под этой. Он жил в щели между ними — там, куда не дотягивается ни положение о молодых специалистах, ни инструкция по работе с излучением, и где поэтому никто никого не ищет. Для сироты место было выбрано безошибочно: государство, которое второй год не может найти его, чтобы выдать квартиру, не нашло бы его и здесь.

— И вы, — сказал я, — отсыпаетесь здесь.

— Втихую. — Он покраснел; это было видно даже при здешнем свете, который ничего никому не прощал. — Тут же никого не было. Два места, а никого. Я думал: ну какая разница, если пустое.

Разница была в документах. По документам место существовало, а человек на нём — нет. Сегодня днём я сам решил, что жилец здесь один. «Пока». «Пока» продержалось несколько часов.

Сергей стоял у двери и не уходил. Уходить ему было некуда, и понимали это мы оба: он — давно, я — с той минуты, как он назвал фамилию. Он переступил с ноги на ногу.

— Вы ж не скажете? — спросил он. — Глебу Ильичу?

Глеб Ильич отдал мне из ящика своего стола ключ, каким запирают то, что не жалко, и сказал напоследок: «Там тихо».

Тихо было. Двадцать минут.

Я не ответил. Молчание в свинцовой комнате держится долго: уйти ему некуда — как и Сергею.

Сергей принял его за разрешение. Плечи у него опустились, он выдохнул и посмотрел на меня бодрее — с тем облегчением, какое бывает у людей, которых не выгнали сразу и которые решили, что раз не сразу, то, может, и вообще.

— Слушайте, — сказал он. — Раз уж я вас всё равно разбудил. Чаю?

— Чаю, — согласился я.

Он присел к дальней тумбочке и открыл её так же, как нашёл выключатель, — не глядя. Внутри стояли чайник, две кружки и бутылка воды. Розетка пряталась за тумбочкой; он знал и её.

Две кружки. Вторая тумбочка, выходит, была занята давно, а я полдня считал её своей. В подвале, где по документам до сегодняшнего дня не жил никто, хозяйство было заведено на двоих. Интересно, на кого Сергей рассчитывал, покупая вторую кружку. Вероятно, на того, кто однажды придёт и спросит, что он здесь делает.

Я расстегнул рюкзак. Полотенце, газета, пакет. Пирожков осталось семь. Каждый — запас: шесть килограммов сами не вернутся, а новых здесь никто не испечёт. Я выложил на газету пять. Подумал. Выложил шестой.

— Бабушкины, — сказал я.

Сергей посмотрел на газету, как смотрят на документ, в котором обещают квартиру: с недоверием, но уже согласно.

— Ща, — сказал он. — Ща чаю организую.

Чайник зашумел. Сергей разлил кипяток, сел на край стола и съел первый пирожок в четыре укуса. Второй взял уже без спроса. Ел он так, как ел Тихон после ночной смены: быстро, не разбирая начинки, будто еду могут отозвать приказом.

— Вы не обижаетесь? — спросил он с набитым ртом. — Что я на вас.

— Рёбра целы.

— Все?

— Я проверил.

Этого ему хватило. Он отхлебнул и разговорился — как разговаривают люди, которых давно ни о чём не спрашивали, а тут спросили, накормили и не выгнали.

— Вы ж терапевт, — сказал он. — А у нас терапевта во втором не было. Вообще. Если надо — зовём из главного. Кружевникова, Аглая Романовна. Она там, в первом, с благородными.

— Приходит?

— Приходит. — Он поставил кружку. — Если её попросить. Если хорошо попросить. Если постоять у её двери, пока она чай допьёт. Чтобы она спустилась к нам, надо подняться к ней. И поклониться.

— А если не кланяться?

— Тогда больной сам поднимается. — Сергей подумал. — Если дойдёт.

Лестница между корпусами работала в одну сторону: вверх ходили просить, вниз спускались, когда упросят. Где-то посередине, видимо, и умирали — на ступеньке, которую не вписали ни в одну смету.

— Дальше, — сказал я.

— Глазной — Сизова, Нина Аркадьевна. Наша. — Сергей поискал, как сказать необидно, не нашёл и сказал как есть: — Глаза больным лечит хорошо. А своими ни на что уже не смотрит. Ей лет на пятнадцать меньше, чем выглядит.

— ЛОР?

— Лещёв, Пётр Семёнович. — Сергей повеселел. — Ему до пенсии чуть-чуть. Всё про рыбалку. Больного выписывает — и вслед: «Ни хвоста вам, ни чешуи».

Ухо, горло, нос — и удочка за дверью кабинета. Единственный человек в корпусе, у которого был план на будущее. План состоял из озера.

— Зубы?

— Зубов у нас нет. — Сергей усмехнулся. — В смысле, стоматолога. Только платно, в главном. Простым зубы не положены. Простым положено жевать тем, что осталось.

Он взял третий пирожок. На газете осталось три, в рюкзаке — один. Бабушкин запас таял быстрее, чем в больнице меняется штатное расписание.

— Гинеколог — Вершкова, Карина Олеговна. — Сергей перестал улыбаться. — Второй год после института. Тоже по квоте, как вы.

— Специализация платная.

— Заплатила. В долг. — Он повертел кружку в руках. — Вот и рвётся. В первый корпус хочет, к благородным. Там и денег больше, и по должности есть куда расти. Перевестись можно, только трудно. Кто-то же простых лечить должен.

— Должен, — сказал я. — А переводят через кадры?

— Через кадры. — Сергей помолчал, решая, сколько можно сказать человеку, с которым он полчаса как перестал быть посторонним. — Она там своя. Чай пьёт.

Больше он не добавил. Хватило и этого.

Я поставил кружку на тумбочку.

«Личное дело ваше теперь у меня, Рубцов. Три года».

До сих пор я думал, что моё дело лежит в ящике и ждёт, пока в него что-нибудь положат сверху. Оказалось, у ящика есть и вход сбоку — с чаем, по-дружески, через подружку.

— Хирург, — сказал я.

— Глеб Ильич. Зав. корпусом. — О нём Сергей говорил иначе, чем обо всех остальных: тише и без шуток. — Хирург от бога. И к нам по-честному, никого не топит. В Москве был ведущим. Что-то там вышло — не знаю что, никто не знает. Переехал в Вологду, а оно и там его догнало. Так здесь и оказался. Лет десять уже. Сначала пробовал что-то делать. Получал по рукам. Бросил.

— И теперь, — сказал я.

— И теперь тихо. — Сергей отвёл глаза. — Спивается.

Печень Глеба Ильича я видел сегодня через стол: жирная, по краю фиброз. Сергей видел стопку под газетой. Диагноз у нас сошёлся. Методы разные, и мой в историю болезни не впишешь.

— Раиса Фёдоровна, — продолжал Сергей. — Вы её видели. Военная. В медсанчасти служила, в батальоне. Где-то там была, где стреляют, — про это вслух не говорят. Ранило её тяжело. Спасли. А потом по-хорошему попросили на пенсию. Возраст позволял.

Кашель, сухой и низкий, из нижних отделов. Днём я его отметил и отложил. Теперь у кашля появилось прошлое. Я отложил его ещё раз — вместе с прошлым.

— Она девчонкам помогает, — добавил Сергей. — Медсёстрам. Сверх своего. Их четыре, местные все. Смены еле закрывают. Ушли бы — а куда?

Печень, лёгкие, долг за учёбу, сплетни в кадры, удочка за дверью. Корпус лежал передо мной, как больной на столе, у которого что ни орган, то запущенный случай. Руки уже знали, с какого края начать.

Я в отпуске.

Сергей допил чай и оживился, как оживляются при начальстве, которое не выгнало и даже накормило.

— А хотите, я вам корпус покажу? — сказал он. — Ночью тут интереснее, чем днём.

Лестница из подвала выводила под лестницу наверх, в тот угол, куда днём никто не смотрит. Сергей пошёл не к приёмнику, а в другую сторону, уверенно, как экскурсовод, который водит по одному и тому же музею так давно, что экспонаты с ним здороваются.

— Сюда, — сказал он.

На первом этаже был коридор. Днём я его не заметил: днём я смотрел в лестницу и на зелёный висок на лавке. Освещён коридор был ровно настолько, чтобы не споткнуться; на большее смета не рассчитывала.

— Тут кабинеты, — сказал Сергей. — Глазной. ЛОР. Гинеколог.

Таблички на дверях были написаны от руки, каждая своим почерком, как подписи в ведомости. На «ЛОР» в углу кто-то нарисовал ручкой поплавок. Я не спрашивал кто. Сергей посмотрел на поплавок с таким видом, будто тоже не спрашивал, но знает.

Из-за угла, со стороны приёмника, ударил голос. Женский, высокий, на пределе:

— Вы не видите? Она умирает! Она же умирает, а вы сидите!

Второй голос ответил на тон ниже, но с тем же нажимом:

— Доктор сейчас подойдёт! Я вам сказала: доктор сейчас подойдёт!

— Кто сегодня? — спросил я.

Сергей посмотрел на часы на руке, хотя знал и без часов.

— Сегодня гинеколог дежурит.

— На приёме.

— На приёме. — Он развёл руками. — Смешно, да? А что делать. Суточные дежурства в приёмнике поделены на всех врачей. Ставки есть. Врачей нет. Вот и выходит: сегодня на приёме гинеколог, и в смену она одна за всех.

— За всех, — повторил я.

— Днём ещё ничего. Днём хоть кого-то позвать можно: Глеб Ильич наверху, Сизова, Лещёв. А вечером, а особенно ночью, надежда только на себя. — Сергей подумал и добавил честно: — На себя и на медсестру.

Я представил эту ночь целиком. Женщину с язвой желудка примет гинеколог. Ребёнка с ложным крупом — гинеколог. Мужика с инфарктом примет гинеколог, а если гинеколог сегодня не дежурит, то кто-нибудь другой, кто тоже не кардиолог. Диплом в этом корпусе означал то, что в нём напечатано, ровно до вечера. Вечером все дипломы становились одним дипломом — дежурным, — и в нём было написано: «Принимай». Специализация здесь была не профессией, а расписанием.

График мне не показывали. Его покажут, когда впишут в него и меня. Судя по тому, как Сергей сказал «ставки есть», ждать оставалось недолго.

— Не видите, что ли?! — снова закричали за углом.

Дверь с табличкой «Гинеколог» открылась.

Из неё вышла женщина. Молодая, приятной наружности, халат по фигуре, застёгнут не на все пуговицы, а на столько, сколько нужно. В руке кружка. Из кружки шёл пар и пахло кофе — настоящим, не здешним, тем, который покупают на свои и пьют на работе, чтобы работа помнила, кто тут главный.

Она шла к приёмнику. Не торопясь. Шаг ровный, как у человека, который знает, что без него не начнут.

Крик за углом ей не мешал. Крик шёл ей навстречу по коридору, а она шла навстречу крику — тем шагом, каким отходят от кофейного автомата, когда кофе уже в руке и спешить больше некуда.

Я посторонился, как положено младшему по чину, — хотя чина у меня пока не было никакого, даже младшего.

— Добрый вечер, — сказал я.

Она посмотрела на меня так, как смотрят на стену, где не висит ничего важного: взгляд прошёл, задержаться ему было не на чем. Ничего не сказала. Отпила кофе. Прошла мимо тем же шагом.

Меня записали в мебель. Мебель в этом корпусе хотя бы не сокращают.

Сергей смотрел ей вслед с тем лицом, с каким, наверное, смотрел на очередь на квартиру: без надежды, но по привычке.

— Это она, — сказал он тихо. — Карина Олеговна.

— Я понял.

— Она со всеми так. Кроме тех, кто выше. — Он подумал. — Вы не обижайтесь.

— Мебель не обижается. Мебель скрипит.

Я был ниже. За сегодняшний день мне это объяснили уже несколько раз, и всякий раз новый человек.

За углом крик поднялся ещё на тон. Голос сорвался, и слов в нём больше не было, только «ну» и «скорее». Медсестра ответила что-то коротко и зло. Кружка с кофе завернула за угол. Шаг не изменился.

Крик становился громче. Кофе — медленнее. Расстояние между ними сократилось до нуля, но скорость кофе от этого не выросла. Есть законы физики, а есть законы второго корпуса, и вторые, как выяснилось, строже.

Я снял очки и протёр треснувшее стекло. Целее оно от этого не стало.

Я пришёл смотреть корпус. Корпус мне показывали.

— Глазной, ЛОР, — сказал Сергей неуверенно и показал на двери, будто экскурсия ещё продолжалась и её можно было довести до конца, если не обращать внимания на то, что за углом.

Я надел очки и взял его за рукав.

— Посмотрим, — сказал я и повёл его туда, где кричали.

Приёмный покой встретил нас тем же запахом, что и днём: хлорка, мокрая тряпка. К ним добавился новый — пот и чужой страх. В маленьком помещении страха было много, он стоял под лампой, как пар над кастрюлей, и его не успевали проветривать.

Каталка стояла у стены. На каталке лежала женщина лет сорока, в куртке поверх кофты, колени подтянуты к животу. Живот был вздут и натягивал кофту туго, как барабан. Рядом стояла вторая женщина, держала её за руку обеими руками и смотрела на всех сразу, будто от того, на кого она посмотрит, зависело, кто поможет.

За стойкой сидела медсестра — молодая, светловолосая, злая от усталости. Перед ней лежала заведённая карта.

Вершкова уже стояла у каталки. Кружку с кофе она поставила на стойку, рядом с картой, — на расстоянии вытянутой руки, чтобы не пришлось отвлекаться.

Медсестра увидела нас.

— Вы к кому? Посторонним сюда нельзя.

— Он со мной, — сказал Сергей.

Медсестра посмотрела на Сергея, потом на меня и решила, что ругаться ей сегодня есть с кем и без нас. Она повернулась к спутнице:

— Женщина, сядьте. Держите её, а не меня.

Спутница не села, но руку держать стала крепче.

— Как вас зовут? — спросил я медсестру.

— Алёна. — Она не поняла, зачем мне это, и на всякий случай добавила: — Медсестра.

— Благодарю, Алёна.

Вершкова на нас не смотрела. Она осматривала.

Осматривала она обстоятельно и с удовольствием, как читают письмо, в котором ждали хорошую новость. Положила ладони на живот. Живот ответил бурлением, громким, на всю комнату. Она пальпировала по квадрантам, остановилась, нажала глубже. Под пальцами, судя по её лицу, что-то толкнулось. Она нажала ещё раз. Толкнулось снова.

Лицо у Вершковой изменилось. Скуки в нём больше не было. Было то выражение, с каким смотрят на выигрышный билет, ещё не веря номеру, но уже прикидывая, на что потратить.

— Образование, — сказала она вслух. — Большое. Плотное. — Нажала в третий раз. — И пульсирует.

— Что с ней? — Спутница дёрнулась вперёд. — Что с ней, доктор?

Вершкова выпрямилась. Ответила она не спутнице, а Алёне, медленно и чётко, под запись:

— Гигантская киста яичника. Перекрут ножки. Угроза разрыва. Размер уникальный. — Она взяла кружку, отпила и добавила тем же тоном: — Готовь к операции. Хирурга подни-

май. И карту веди подробно: это случай для «Императорского вестника акушерства и женских болезней».

Алёна записала. Ручка у неё скрипела так, будто тоже сомневалась. Потом Алёна посмотрела на часы над стойкой — так смотрят на часы, когда видят в них не время, а состояние человека, которого сейчас придётся будить.

— Глеба Ильича? — спросила она. — Сейчас?

— Сейчас, — сказала Вершкова. — Перекрут ждать не будет.

Алёна положила руку на телефон.

Перекрут кисты болит так, что человек не лежит, а мечется, и живот при нём не гремит, а замолкает, будто прислушивается к беде. Этот живот гремел на всю комнату. Вершкову противоречие не смущало. Противоречие было уникальным, а уникальное печатают. Обычное — лечат, и про обычное статей не пишут.

Я отметил и то, чего не сделали. Тест на беременность — первое, что делают у женщины с болью в животе, — стоит меньше кружки кофе, и ждать его пять минут. Его не сделали: уникальным случаям анализы только мешают. Аппарат УЗИ стоял во дворце, где-то по соседству с роботом. Чтобы его получить, надо было подняться и поклониться. Ночью поклон обошёлся бы дороже статьи. Хирурга поднять было дешевле: свой.

Я посмотрел на пациентку внимательнее, чем на неё смотрела Вершкова. Это было нетрудно: Вершкова смотрела в «Вестник».

Тело усталое, недосыпающее, сорок с небольшим. Матка по возрасту, пустая. Яичники обычные, без кист и без чего-либо, что можно назвать гигантским. Кисты нет — ни гигантской, ни малой, ни уникальной.

Зато кишечник работал за троих. Желудок и тонкая кишка воспалены, раздуты газом. Перистальтика шла волнами, сильно, судорожно: кишка пыталась выгнать то, что в неё попало, и делала это с усердием, какого в этом корпусе не проявлял больше никто. Волна под ладонью — вот и «пульсация». Петля, раздутая газом, — вот и «образование». Обезвоживание пока небольшое. Пока.

В Малом Лутове это называли гремучим брюхом. Учебник Тихона назвал бы острым гастроэнтеритом, пищевой токсикоинфекцией. Деревня и учебник снова сошлись. Не сошлась с ними только Вершкова, и её это не беспокоило: ни деревня, ни учебник в «Вестнике» не печатаются.

Через час Сапрыкина подняли бы оттуда, где его застаёт ночь, и он разрезал бы живот, в котором не было ничего, кроме чебурека.

Я не работаю. Я просто не могу на это смотреть.

Вершкова отвернулась к стойке, забрала у Алёны карту и стала писать сама — крупно, с наклоном. Так пишут первые строчки статьи, когда уже видят её в оглавлении.

Мне нужен был довод. Не мой. Довод, который Вершкова смогла бы проверить своими руками, своим инструментом, и не спросить, откуда я его взял. Чужое объяснение. В прошлый раз его за меня нашла аптека. Здесь аптеки не было, была только Вершкова, и объяснение надо было найти такое, чтобы она его приняла, а лучше — сочла своим.

Я подошёл к изголовью каталки. Спутница посмотрела на меня с надеждой, не зная, кто я. Ей было всё равно кто. Лишь бы не уходил.

Я наклонился к лицу пациентки близко, как наклоняются послушать дыхание, и вдохнул.

Запах был кислый, тяжёлый, с подгоревшим маслом и тем, во что масло превращается, если ему дать постоять в тепле. Желудок рассказал всё сам. Мне оставалось задать вопрос — один, из тех, что задают на первом курсе и забывают к пятому.

— Что вы сегодня ели? — спросил я.

Пациентка открыла глаза и посмотрела на меня мутно, как смотрят на того, кто спросил совсем не то.

— Да времени не было, — сказала она. — Работы много. Чебуреков купила. В палатке.

Я выпрямился.

Вершкова писала, не поднимая головы. Ручка шла легко: у неё был уникальный случай. У меня был чебурек.

— Коллега, — сказал я.

Вершкова не подняла головы.

— Коллега, — повторил я, не громче. — Перистальтику слушали? Она ела чебуреки из палатки. Похоже на кишку.

Ручка остановилась.

Вершкова подняла глаза. На меня она посмотрела впервые за вечер, и на этот раз взгляду было на чём задержаться.

— Какая я вам коллега? — сказала она. — Вы кто вообще такой? Что вы тут делаете в такое время?

Ответа она ждать не стала и повернулась к Алёне:

— Охрану вызови. У нас посторонние. Вне часов посещения.

Алёна посмотрела на трубку у себя под ладонью так, будто решала, кого из двоих ей теперь будить первым. Посмотрела на Сергея. Сергей посмотрел на потолок — так внимательно, будто там висел график его дежурств.

Я сунул руку во внутренний карман, достал пластиковую карточку и положил на стойку перед Алёной. Лицом вверх.

Алёна прочла, шевельнув губами:

— «Дворянский корпус. Сотрудник».

Трубку она не сняла. Рука осталась на телефоне, но набирать не стала — ни охрану, ни хирурга. Так оставляют руку на перилах, когда уже раздумали спускаться.

Вершкова тоже прочла. На карточку она смотрела дольше, чем на меня, и дольше, чем на пациентку. Пропуск в здание, куда она рвалась второй год, лежал на стойке второго корпуса, и выдан он был квотнику с рюкзаком, который ещё сегодня утром не знал, где в этом городе отдел кадров.

Днём этот пропуск не открыл во втором корпусе ни одной двери. Сейчас он сработал первый раз. Сработал на человеке.

Я подождал. Потом пододвинул к Вершковой по стойке её кружку.

— Остынет.

Она посмотрела на кружку так, будто я пододвинул ей мину.

— Выговорились? — спросил я. — Теперь попробуем сначала. Я ваш новый врач-терапевт. Рубцов. С завтрашнего дня заступаю на смену.

Сергей у стойки кивнул так, будто это он меня назначил.

— А раз сначала, то по порядку, — сказал я. — Ваша киста пахнет чебуреком из палатки и скоро выйдет через запасной выход. Дайте ей «Капли Пузыревские». И солевой раствор: пить понемногу и часто. Два ведра. И освободите туалет на первом этаже. Хирурга будить не надо.

Спутница пациентки перестала держать руку обеими руками. Теперь она держала её одной, а другой зажимала себе рот, будто боялась засмеяться в больнице без разрешения.

— Теперь по существу, — сказал я. — У неё специфический запах изо рта. Застой в желудке. Плюс чебуреки неизвестной свежести. Это бурная перистальтика: кишечник пытается выгнать то, что в него попало. Ваша пульсация — его волны. Ваше образование — петля, раздутая газом.

— На глаз вы такое не определите, — сказала Вершкова.

— Не определю, — согласился я. — Поэтому возьмите стетоскоп и послушайте.

Стетоскоп висел у неё на шее. Весь осмотр.

— При отравлении, — сказал я, — там бурлит и переливается: кишка гонит наружу то, что в неё попало. При перитоните кишка молчит. — Я развёл руками. — Вы всё поймёте сами. А на глаз — даже не знаю.

Вершкова смотрела на меня. Потом молча сняла стетоскоп с шеи.

Она подошла к каталке и вставила оливы в уши. Положила мембрану на живот, справа, ниже пупка. Переставила. Переставила ещё раз.

Слушать было что. Даже я, без стетоскопа, слышал, как в животе у пациентки переливается и урчит. Через стетоскоп это должно было звучать как оркестр на репетиции, где каждый играет своё и никто не слушает дирижёра.

Лицо у Вершковой не менялось. Слушала она долго, дольше, чем требовалось, — так слушают, когда надеются услышать другое. Другого не услышала. Кишка играла своё громко и честно, и ни одной ноты для «Вестника» в её партии не было.

Вершкова вынула оливы из ушей, повесила стетоскоп обратно на шею и повернулась к Алёне.

— Дай ей «Пузыревские». Солевой раствор. И проводи в туалет.

Ни слова мне. Ни слова пациентке. Ни слова про «Вестник».

Алёна вскочила и достала из шкафа за стойкой коробку. На коробке крупно, для больного: «Капли Пузыревские. От живота». Мелко, латынью, для другого читателя: Simeticonum.

Капли снимут газ. Отравление вылечат раствор и время. Благодарить пациентка будет капли. Аптека снова оказалась на моей стороне и на этот раз даже не взяла денег вперёд — только славу, которую ей отдают все, кому полегчало.

Алёна помогла пациентке сесть, спутница подхватила с другой стороны. Пациентка охнула, прижала руку к животу и сказала тихо и с ужасом:

— Ой. Скорее.

— По коридору, — сказала Алёна спутнице коротко. — Ведите. Бегом. — И пациентке, вдвое мягче: — Потерпи, милая. Тут близко.

Запасной выход открывался по расписанию.

Вершкова закрыла карту. В последний раз она посмотрела на написанные строчки — крупно, с наклоном. Статья в «Вестник» закончилась на первой странице, так и не дойдя до слова «уникальный» во второй раз.

Она протянула руку к кружке. Коснулась. Кофе остыл, как я и обещал. Брать она не стала.

Потом развернулась и пошла к выходу. Не торопясь. Тем же шагом, которым шла сюда.

У двери остановилась.

— А вас, — сказала Вершкова от двери, — я попрошу больше не вмешиваться в мою работу.

Она повернула голову — не всю, ровно настолько, чтобы я видел, что она на меня смотрит, а Алёна видела, что ей самой на меня смотреть не обязательно.

— Я так понимаю, раз вы здесь в такое время, жилья у вас нет. — Уголок рта у неё поднялся. — Вот и идите в свою общагу.

Она усмехнулась, довольная. Ответ был найден, вечер спасён, последнее слово осталось за ней.

Я посмотрел на Алёну. Посмотрел на Сергея.

— Благодарю, коллега, — сказал я. — Общежитие у меня тихое. Будет нужна консультация — стучите в рентген. Да и туалет здесь на ближайший час занят, так что милости просим.

Из коридора, со стороны туалета, донёсся звук. Подтверждение пришло само и вовремя, без направления и без визы главного.

Вершкова фыркнула, развернулась и вышла. Шаг у неё на этот раз был быстрее, чем весь вечер.

Кофе она оставила на стойке.

Алёна смотрела ей вслед, пока шаги в коридоре не затихли. Потом посмотрела на кружку. Кружка стояла на стойке, как чемодан, забытый на перроне: хозяйка уехала, а он всё ждёт.

— Помыть, что ли, — сказала Алёна сама себе.

— Пусть стоит, — сказал Сергей. — Утром заберёт. Она за своим всегда возвращается.

Алёна подумала и не тронула. Кружка Вершковой осталась ночевать во втором корпусе — единственная из её вещей, которая провела здесь больше времени, чем было положено по графику.

Потом Алёна взяла со стойки мою карточку, развернула лицом ко мне и протянула.

— Ваш пропуск, доктор.

Доктор. Первый раз в этом корпусе — без «вы к кому».

— Благодарю, Алёна.

Я убрал пропуск во внутренний карман, к контракту. В кармане он лежал так же, как утром, но весил теперь по-другому: утром это был пластик, а сейчас — довод.

— Спокойной ночи, — сказал я.

— Какой она будет, ещё неизвестно, — сказала Алёна и посмотрела в сторону туалета. — Но спасибо.

Мы спустились. Сергей шёл впереди и молчал. Молчал он так, как молчат люди, которые видели что-то и пока не решили, как это пересказывать, — а пересказывать Сергей, судя по чаю, любил и умел. Такое молчание дорого стоило. Я не знал ещё, надолго ли его хватит.

В подвале всё было так, как мы оставили. Чайник, две кружки, газета на столе. На газете — три пирожка.

Сергей остановился у порога и не вошёл. В комнату, где он ночевал втихую неизвестно сколько, он теперь не входил без спроса.

— Мне… — Он подумал, как сказать, и сказал прямо: — Мне можно остаться?

Я не ответил. Я взял газету с тремя пирожками и переложил её на дальнюю тумбочку — на ту, где жили его чайник и вторая кружка. Четвёртый пирожок остался в рюкзаке.

Три — ему. Один — мне. Счёт сошёлся не в мою пользу, и я его подписал.

Сергей перевёл взгляд с тумбочки на меня и обратно. Второй раз спрашивать не стал — понял. Он из тех, кто привык понимать по жестам, потому что словами ему обычно отказывали.

Он сел на край своей тумбочки и съел пирожок. Медленно, не так, как первые три. Медленно едят то, что уже не отнимут.

— Доктор, — сказал он, дожевав. — А вы правда по запаху? Вот так, с одного раза?

— Застой в желудке даёт кислый запах с примесью прогорклого жира, — сказал я. — Описано в учебнике пропедевтики, раздел «Осмотр полости рта», второй абзац снизу. Там же сказано, что ошибиться трудно, если не торопиться. Вершкова торопилась в «Вестник».

Абзац я назвал точно — точнее, чем нужно человеку, который просто спросил, и точнее, чем помнил его сам Тихон. Так я отвечаю, когда отвечаю не всё.

— А, — сказал Сергей с уважением, с каким говорят о книгах, которых не читали и читать не собираются. — Ну да. Учебник.

Учебник Тихона выручал меня сегодня второй раз: сначала с диагнозом, теперь с алиби. Пусть привыкает.

Человек, которого некому искать. Квартиры нет, общежития не положено, фамилия из драгоценного металла и больше ничего. Видел, как я ставлю диагноз носом. Видел пропуск. Знает, где я сплю, и теперь спит там же. На другом конце любого из этих фактов можно было бы поставить вопрос, а вопросы мне в этом городе были ни к чему. Но на этом конце стоял человек, который спросил один раз, удовлетворился учебником и доел пирожок.

Я отметил: свой. Отметил и отложил.

Он не знал, что его записали. Записанные обычно не знают.

Сергей полез на верхний ярус. Лестницы у кровати не было, и он забирался по раме, привычно, как забираются туда, где делали это сто раз в темноте и ни разу при свидетелях. Кровать скрипнула под ним по-своему. Подо мной она скрипела иначе. Даже кровать в этой комнате теперь говорила на два голоса.

Я лёг на нижний ярус.

Сергей свесил руку с края, пошарил по стене в сторону двери. До выключателя не дотянулся. Подумал, спустился, погасил свет по памяти и забрался обратно уже в темноте.

Темнота была полная. Свинец своё дело знал.

— Доктор, — сказал Сергей сверху. Голос у него был уже сонный. — Она с утра в кадры зайдёт. Она всегда заходит.

— Я знаю, — сказал я.

Больше он ничего не сказал. Через минуту сверху задышали ровно, как дышат люди, которых впервые за долгое время никто не выгонит до утра.

Жильцов — два. Врагов — тоже два. Одна держит моё личное дело. Вторая утром расскажет ей, как квотник без смены полез в чужое дежурство. Из таких рассказов в кадрах пишут докладные.

В девять у меня на приёме Тамара.

Глава 7

Будильник зазвонил в семь пятнадцать.

Звонил он не у меня. Я его не ставил: я считал до девяти, а будильник, как выяснилось, считал быстрее и пришёл первым. Счёт мой он перебил на полуслове, не извинившись, как перебивают те, кто живёт здесь дольше.

В бывшем рентген-кабинете утро не наступает. Окна нет, а стены строили так, чтобы ничего не пропускать, и рассвет они не пропускали тоже. Утро здесь объявлял телефон Сергея — и объявлял с таким удовольствием, будто ему за это доплачивали.

Наверху заворочались. Нога в носке нашла раму, потом вторая. Сергей спустился с верхнего яруса, как спускаются по лестнице, которой нет, — уверенно, потому что каждый день. Щёлкнул выключатель. Трубы под потолком загудели, будто проснулись вместе с ним и тоже без охоты.

— Доброе утро, доктор, — сказал Сергей.

Он выспался. На законном ярусе спят иначе, чем втихую.

— На завтрак идёте?

— На какой завтрак?

Сергей посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который спросил, где здесь выдают воздух.

— А вы куда собирались?

— В ларёк у проходной, — сказал я. — За лапшой. Туда и обратно до приёма как раз успею.

— Лапша, — повторил Сергей.

— Шесть лет.

Он кивнул с пониманием человека, который знает лапшу в лицо и здоровается с ней по имени.

— Так при больнице ж пищеблок. В торце — столовая для своих. Завтрак, обед, ужин. Бесплатно.

Слово «бесплатно» я слышал в Империи впервые. В контракте его не было, в направлении тоже, а Жанна Эдуардовна, судя по всему, не знала его вовсе. Я ждал продолжения. В Империи у бесплатного всегда есть продолжение, и обычно оно мелким шрифтом.

— Почему? — спросил я.

— Тётя Зина говорит, кормят из нормы. Норма на семьдесят коек, а лежит меньше. Остальное списывают на нас. — Сергей натянул свитер с вытянутыми локтями. — По бумагам мы с вами едим как больные.

Вот оно, продолжение. Даром в Империи кормят только больных, а здоровому, чтобы поесть даром, надо числиться больным. Где-то в отчётах губернии мы с Сергеем каждое утро лежали в палате с диагнозом, получали пшённую кашу по норме и, судя по отчётам, шли на поправку. Ни одна комиссия не нашла бы в этом нарушения: больные ели, норма сходилась, а то, что больные при этом сами ходили в столовую, бумаге было неинтересно. Хоть в чём-то Империя последовательна.

— Только по расписанию, — добавил Сергей. — Завтрак с половины восьмого до четверти девятого. Кто не успел, тот опоздал.

Расписание. Поезд ради меня стоять не стал. Каша, надо думать, тоже не станет.

Я прикинул. Еда — запас. Всё серьёзное, что я когда-нибудь сделаю с этим телом, будет оплачено жиром, а жир покупают едой. Бесплатная еда — бесплатный материал, и пропускать её было бы так же глупо, как мастеру отказываться от дармового сырья только потому, что его выдают по часам.

— Идём, — сказал я.

Лестница из подвала вывела под лестницу наверх, а оттуда в приёмный покой. Пахло хлоркой и мокрой тряпкой. Раиса Фёдоровна уже сидела за стойкой — прямая, в халате, застёгнутом на все пуговицы, — и писала в журнале.

Кружки Вершковой на стойке не было. За своим она и правда возвращалась.

Сергей прошёл мимо стойки быстро, не замедляя шага. Так проходят мимо человека, который может спросить, откуда ты идёшь в такую рань и почему снизу. Раиса Фёдоровна головы не подняла. Она закашлялась — сухо, низко, из нижних отделов — и снова взялась за ручку. Кашель я запомнил. Больше она мне ничего не сообщила.

Крыльцо. Пандус, прогнутый посередине. Дальше — тропинка шириной в одну ногу.

Сергей шёл первым и обходил ямки, которые знал наизусть. Я ставил ногу туда, где только что стояла его. Память Тихона здесь молчала: он здесь не ходил. Работала спина Сергея. Прежде за мной ходили другие, след в след, и считали это честью. Теперь я ходил за медбратом и считал это временным.

Заодно я подсчитал, что он знает. Выключатель, розетку за тумбочкой, график дежурств, всех врачей корпуса с их рыбалками и долгами, тропинку, ямки на тропинке и место, где кормят даром. Полезный жилец. Учёт — тоже привычка, и не самая плохая.

На завтрак здесь тоже ходили гуськом.

За насыпью начинался хоздвор. Из решётки прачечной валил пар. На мусорных баках сидели вороны, сытые и спокойные: расписания у них не было, у них был доступ. Котельная гудела.

Из боковой двери низкого кирпичного здания выкатили тележку. На тележке стояли судки под крышками, и крышки блестели так, как блестит только то, что везут наверх. Тележка свернула за угол дворца, на сухой асфальт, и покатилась по аллее мягко, без тряски. Под ней грели. Каша в этих судках ехала туда, где ей не придётся остывать по дороге.

— Это туда, — сказал Сергей. — В главный. Им носят.

— А нам?

— А мы сами ходим.

Столовая была в торце того же низкого здания, откуда выкатили тележку. Своя дверь, без крыльца. На двери висел лист:

«Завтрак 7:30–8:15. Обед 13:00–13:45. Ужин 18:30–19:00. После окончания раздачи не обслуживаем».

Подписи не было. Расписанию подпись не нужна, ему достаточно часов. Часы, судя по всему, и были начальством: их слушались все, и никто не видел, чтобы они кому-нибудь уступили.

Внутри стояли четыре стола под клеёнкой. Дальше — раздатка, за ней окно мойки. Пахло пшёнкой и топлёным маслом. Где-то в глубине гремели кастрюли, как гремят на кухне, где кастрюлям не перечат. Людей не было. Мы пришли первыми.

За раздаткой стояла женщина в белом колпаке и в халате с закатанными рукавами.

— Доброе утро, Зинаида Матвеевна, — сказал Сергей.

— Серёженька!

Она улыбнулась сразу и вся. Так улыбаются тому, кого надо накормить, пока он не передумал или пока его не забрали.

— Зинаида Матвеевна, это наш новый терапевт. Доктор Рубцов.

— Доброе утро, Зинаида Матвеевна, — сказал я.

Она кивнула коротко, без улыбки. Улыбка у неё, видимо, выдавалась по стажу, как надбавка. На «Серёженьку» я пока не наработал.

— Ну, мальчики, что будем? — Она взяла половник. — Каша пшённая, на молоке, с маслом. Сырники со сметаной. Яичница на сале. Макароны с сосиской. Хлеб с маслом. Какао, чай.

Мальчиками здесь были все, кого кормят.

Я посчитал. Не деньги — денег не просили. Другое.

— Сырники. Два. Со сметаной — около четырёхсот пятидесяти. Макароны с сосиской — ещё четыреста. Хлеб с маслом — три куска, по полторы сотни. Какао, сладкое — двести.

Половник остановился над кастрюлей.

— Доктор, — сказала тётя Зина, — ты считаешь или заказываешь?

— Заказываю, Зинаида Матвеевна. Вслух.

— Вслух у нас только батюшка в праздник заказывает. — Она зачерпнула. — Держи, считальщик.

— Мне то же самое, — сказал Сергей. — И какао.

Тётя Зина вздохнула, как вздыхают над двумя голодными сразу, и стала накладывать. Сергею макароны она зачерпнула со дна, где гуще, и сосиску выбрала потолще. Мне — сверху, как всем. Со дна здесь клали своим. Сословие было и тут, только кухонное, и, в отличие от губернского, оно хотя бы пахло топлёным маслом.

Прежде я собирал химер. Теперь собирал поднос. Подход был тот же: сначала материал, потом всё остальное. Разница была в масштабе и в том, что химера никогда не спрашивала, считаю я или заказываю.

Мы сели за ближний стол. Сергей ел быстро, молча, левой рукой придерживая тарелку. Тело Тихона глянуло на него и вспомнило шесть лет ночных смен, когда есть приходилось между двумя каталками. Вспомнило и потянулось ускориться. Я его придержал. Запас лучше закладывать без спешки: в спешке материал ложится комом.

Первый сырник был горячий, с корочкой, сметана на нём таяла. Тяги из-под кожи не было. Было обратное: что-то ложилось внутрь и оставалось. За всё время в Кокшенске я впервые был чем-то доволен. Этим чем-то были сырники. Если бы Империя знала, как дёшево обходится довольство мастера живой плоти, она бы, пожалуй, не тратилась на подогрев аллеи.

— Слякоть, — сказал Сергей, глядя в окно.

— Слякоть, — согласился я.

— Тропинку к обеду развезёт.

— Развезёт.

— А на обед, может, котлета будет. Если повезёт.

— Посмотрим.

Разговор шёл ни о чём, и в этом было его главное достоинство. Ни о чём разговаривают люди, которым нечего друг у друга выпытывать. Мне было что. Я не стал.

Дверь открылась без стука.

Вошла Вершкова. Пальто поверх халата, лицо после суток, под глазами тени, которые не возьмёт никакая пудра. Она остановилась на пороге и посмотрела на нас — так смотрят на пыль под ногами, которую растереть и забыть. Взгляд прошёл по столу, по подносам, по Сергею, по мне и ни на чём не задержался. Вчерашний пропуск, видимо, действовал только при свете лампы над стойкой.

— Тётя Зина, — сказала она громко, глядя мимо, — у вас тут посторонних кормят?

Тётя Зина не подняла головы от кастрюли.

— Тут всех кормят, кто по расписанию.

Вершкова помолчала. Расписание висело на двери, часы над раздаткой показывали без двадцати восемь. Возразить было нечем: с часами здесь не спорили.

— Чаю. Покрепче.

Она взяла кружку, прошла к дальнему столу и села спиной к нам. Спина была прямая и обиженная — так сидят люди, которые хотят, чтобы их обиду заметили, но не хотят, чтобы о ней спросили.

Сергей наклонился над тарелкой.

— Она сейчас в магазин, — сказал он вполголоса. — А потом к Жанне. Всегда так.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.